Ты была совсем другой: одиннадцать городских историй

Автор:
Майя Кучерская

Ты была совсем другой: одиннадцать городских историй

Майя Александровна Кучерская

«Ты была совсем другой» – новая книга прозаика Майи Кучерской. Одиннадцать городских историй о том, как увидеть и понять другого человека. Как совершить прыжок за пределы собственного бытия и, тем не менее, выжить. Пути героев пролегают вдоль Чистых прудов, московских набережных и в окрестностях Арбата, по тропам русского захолустья и итальянской деревушки, незаметно превращаются в лабиринт, наводненный призраками прошлого и несбывшегося. Никогда не узнаешь, что выведет: симфония Шостаковича, жаворонок на проталинке или просто объятие.

Майя Кучерская

Ты была совсем другой: одиннадцать городских историй

Голубка

История одного исцеления

1.

Рыжий.

Самый отважный, самый красивый на свете хитрый рысь. Родной.

Тебе нравилось, помнишь? Когда я звал тебя этими именами. Голубка моя.

И так нравилось тоже. Ты отзывалась на всё. Никого потом так и не встретил отзывчивей. А теперь? Некому бросить позывной, расслышать отклик и запалить этой вспышкой вселенную, растопить ее, словно гигантскую печь, пусть пылает, трещит березовыми полешками, греет.

Как такое возможно? Самые главные слова – некому. А ведь она жива, доктор. Просто называет ее самыми важными словами другой. Слушает, внезапно проснувшись, как безмятежно и ровно она дышит, смотрит, как она надула губы во сне, отлежала щеку, как рассыпались по подушке темно-рыжие волосы и вдруг вспыхнули в первом солнечном луче. Почему я должен жить без этого? Закованный в немоту, в ее отсутствие навсегда, и так не день, не месяцы, не годы – злую вечность без горизонта.

Дважды, доктор! я пытался перехитрить судьбу, дважды предлагал ей руку и сердце. Предпоследний раз в самый подходящий из дней того дикого года – день ее свадьбы.

Но по порядку, за шагом шаг, доктор, как вы и просили.

2.

Все началось с ремонта.

Тут уж я точно ни в чем не виноват. Полтора месяца назад, в середине апреля, в нашем доме затеяли капитальный ремонт. И все обвалилось. Приступы, не повторявшиеся уже несколько лет, вернулись. Глубокой внутренней боли, печали, невыносимости жить. Тоски! Без всяких объективных причин. Боль такая, что нельзя приближаться к открытым окнам, нельзя даже к закрытым.

При чем тут ремонт, да? Очень просто: в подъезде красили стены, из темно-зеленых превращали в брезентовые, защитного цвета, мы на вечной войне,

доктор, белили потолки и меняли лифт. Лифт. Это означало, что на восьмой этаж нужно подниматься пешком. Подумаешь, пожмете вы плечами, мужчина ваших лет и комплекции на восьмой этаж должен взлетать быстрее ветра. Блестяще сказано, доктор, но окна. Окна!

В подъезде, пропитанном запахом краски, в теплые апрельские дни окна распахиваются широко, настежь. И с жадной щедростью соскучившейся по ласке одинокой женщины манят, тянут меня вниз. Доктор, весенний, по верхушкам людей и домов скользящий ветер, девушки в легких плащиках и разноцветных юбках, ветер жует и треплет их, как нахальный щен, а потом, наигравшись, слабо покачивает развешанное во дворе белье (такого уже почти не встретишь, но кое-где все еще случается) – я схожу с ума.

И так каждый день. Не осторожные щели, не робкие форточки – распахнутый зев. В каждом пролете. И ладно бы между вторым и третьим, третьим и четвертым, но и выше: между шестым и седьмым, седьмым и восьмым этажами окна открыты тоже.

Доктор, вы спросили меня примерно в середине приема, уже отстучав молоточком по моим послушно прыгающим коленкам: а что вы любите в жизни, Михаил? Любите сильнее всего, существует такое?

Я усмехнулся, пробормотал что-то вроде «да, наверное», вы застали меня врасплох, и я отмолчался. Доктор! Теперь я готов. Что люблю?

Глаза и мордочки моих мальчишек – люблю. Как они прыгают на меня сразу оба. Рыжеволосых с кошачьей зеленью в глазах (это зелень страсти, доктор! она зеленая, все вранье про цвет крови и ее оттенки), автомобили премиум-класса, мягкий и мощный звук, с каким они срываются с места, и этот особенный запах очень дорогой машины в салоне. Курнуть под настроение кальян, вдохнуть вкусного дыма, под тихое бурчанье воды, вот нравится, расслабляет, а еще итальянцев эпохи Возрождения, особенно женские портреты, их матовую кожу с сиянием внутри, а еще смешать голливудский боевичок с односолодовым виски в вытянутом стакане вечера – люблю. Незрелые кислые яблоки, кепки из мягкого фетра, в крупную клетку, идеальное сочетание зеленый-красный. Стейки medium rare, чтобы трудно, но сочно было жевать. У меня куча слабостей, доктор! Да, Формулу–1, разумеется – когда-то вообще не пропускал, но и сейчас, даже после ухода Шумахера из спорта и отчасти жизни, смотрю. Конечно, острота притупилась, да и любимцев нет – все-таки любой спорт должен быть

очеловечен. Все равно включаю, болею, мчусь, прижатый к земле, вдыхая вонючий дым, слившись с моей умницей в одно упругое тело.

Доктор, я б зубами вцепился в этот пестрый ворох, утонул с головой в этой волшебной помойке людей, ароматов, приятных занятий, вкусов, ради нее я готов даже просыпаться в собственной постели и проживать слюдяное блеклое утро, каждый день. Спускаться на два этажа вниз, чтобы вести близнецов в сад. С прошлого года я поселился отдельно, так нам всем лучше, доктор, так мы решили.

Я готов ради этих кепок, дыма и гонок терпеть всю несносность своего внутреннего устроения.

Но как прикажете жить, если вечером в подъезде меня встречают сладкие, темные пасти, дышат подступающей ночью, забрасывают душу комками запахов: набухшие почки, влажная кора, сырой асфальт – апрель посыпа?л нас дождичком чуть не каждый вечер. Окна распахнуты, и все, что там, мокнет, пахнет в открытом черном зеве, тащит меня вниз.

Доктор, я и сам не могу объяснить это явление, но между шестым и седьмым, седьмым и восьмым – из них надежней полет – в собственном моем подъезде меня упрямо душит этот соблазн.

Выброситься в никуда. А перед последним ударом немного полетать.

И каждый весенний вечер я нажимал кнопки домофона, сдерживая внутренний ужас и жар, входил в подъезд, дрожащий, бессильный, добегал до четвертого этажа и вот тут замедлялся. Шел совсем близко к стене, но ведь и не прижаться – не просохла краска! Проходил первый пролет, добирался до поворота и дальше уже без стеснения хватался за трубу мусоропровода – ее покрасили первой в темно-серый, и хорошо, надежный, нейтральный цвет, она высохла, и я вжимался в нее, как в последнее убежище. Вцеплялся, как та обезьянка, оторванная от матери, которой дали вместо мамаши шерстяной муляж, и в минуты страха (ее нарочно пугали – ради эксперимента!), в минуты голода (которым ее тоже морили) она обнимала эту шерстяную дуру, жалась к ней, потому что… куда ей было деться еще.

Оттолкнувшись от мусоропровода между четвертым и пятым, снова шагал вверх, от площадки между этажами взлетал полпролета, чтобы тут же схватиться обеими руками за вонючую трубу. Так и двигался все четыре этажа перебежками, зажмурившись, поскуливая, только бы не смотреть туда! И все равно сквозь вонь мусора и человеческой грязи, сквозь резкий и кружащий голову запах краски отчетливо ощущал фиолетовый аромат тления, близкой смерти. По неведомым мне законам, нет, в нарушение всех законов физики, именно он звенел в воздухе сильнее и неотвратимей других. Только бы не обернуться! Тем более не выглянуть наружу, во двор. Поднявшись на несколько ступеней вверх, не вернуться назад, не прыгнуть.

Хотя сильнее всего на свете мне хочется именно этого – вернуться, сдаться. На слабых, но сразу же счастливых, благодарных за вымоленное позволенье ногах подойти к подоконнику и все-таки выглянуть в вечер. Пахучий, мокрый, родной. Торопливо скинуть кое-как, не развязывая шнурков, ботинки. Встать на белоснежный подоконник, ощущая, что он слегка липнет к носкам, не досох, улыбнуться. Согнуть руки в локтях, распрямить, сделать два-три рывка в сторону для разминки. Вот и космонавты тренируются перед полетом.

Вытянуть руки вверх, соединив кисти, как перед нырком в бликующий бирюзовый прямоугольник бассейна, оттолкнуться, как можно сильнее, и спокойно, уверенно прыгнуть вперед, горячим лбом в свежую прохладу, обязательно вниз головой, навстречу влажной московской земле и запахам детства – зацветающих тополей, клейких листков и первых упавших на асфальт березовых сережек, метя точно в центр расходящихся кругами переливов звонка на ручке трехколесного велосипеда, прошибая насквозь облачко детской воркотни у качелей.

Доктор, и так каждый день. Жажда погибнуть. Жажда пропасть на хрен заваливала меня, грызла горло. Тайную ото всех вечерю гибели служили мне белые бутоны неведомых цветков на дворовой клумбе, окруженной ромбиками кирпичей, обсыпанные надутыми почками кусты, тополя и березы. Дымок первой зелени поднимался от алтаря. А жертва? Я. И значит, я обязан решиться. Все было готово, оставалось сделать единственный шаг, упругий прыжок в свободу.

Утром я слишком спешил, был при близнецах, которых вел в садик, к тому же с утра по подъезду уже ходили и переговаривались рабочие, да и окна часто отчего-то были притворены или даже закрыты.

Вечером я поднимался один. Окна ждали меня. Подмигивали, точно старые друзья, распахивали объятья. Что останавливало меня, почему я убеждал себя – всякий раз чудом! – что делать этого все же не стоит? Я нарочно втискивал себя в воспоминания о какой-нибудь недавней прогулке с Дэном и Ванькой, за шиворот вталкивал в крутящийся с каруселью Ванькин смех, заставлял себя представлять, как вместо меня однажды у них появляется другой папа, брал наугад кого-нибудь с работы, и разве он сумеет им заменить меня? На этом месте меня уже рвало, почти рвало, когда я видел какого-нибудь Сашика с моими близнецами… Я уговаривал себя и дальше: очень важно досмотреть, узнать, какими они станут, мои мальчики, когда вырастут, будут ли похожи на меня, а может, на Ирку? Нет, нет, нужно было еще немного пожить. Вот только как прорваться?

И я изобрел нехитрый способ: я просто дожидался кого-нибудь внизу, делая вид, что достаю почту, отпирал и запирал пустой ящик. И все ждал, чтобы кто-то зашел в подъезд: крупная армянка с двумя маленькими беленькими собачками с шестого, рассеянный коротко стриженный парень в железных очках – из большой многодетной семьи с девятого или кто-нибудь еще из их шумного семейства, малыш с пофигисткой-мамашей, вечно глядящей мимо детей, нервный бородатый отец, а может, сиплый дед из квартиры напротив. Да хоть молоденькая парочка студентов с седьмого, он всегда трогательно тащил ее рюкзак с книжками! Я здоровался, иногда вступал в краткий разговор, мы вместе ругали наши службы, которые никак не сделают лифт, жаловались и проклинали, присутствие людей отвлекало, я пристраивался к ним и пробегал мимо ощерившихся стражников влегкую. Но если долго никто не шел, я решался. И поднимался один.

Ночью, погасив свет и завернувшись в одеяло, первое, что я ощущал сквозь темноту, – настойчивый зов окна, распахнутого окна, к которому, стоило мне закрыть глаза, я все-таки подходил, скидывал ботинки, вставал на свежеокрашенный подоконник, поднимал лодочкой руки и прыгал… Чтобы не видеть этого, я не выключал свет до тех пор, пока не впадал в полное изнеможение, что-то смотрел на айпаде, листал, читал, слушал музыку в наушниках, старался не спать подольше, но все-таки не выдерживал, проваливался в некрепкий больной сон, просыпался наутро разбитым.

В эти последние апрельские дни я и позвонил Толику.

Сказал, что меня замучила бессонница, пусть это было не совсем правдой. Он почти перебил меня, торопился, я застал его в разгар школьного дня науки, звуки музыки, шум голосов заглушали его. Толик прокричал, что у него есть один невролог, хотя на самом деле больше, чем невролог. Доктор Грачев, живет на Бауманской, принимает дома, лови – в ухо мне зажужжала эсэмэска, а Толик отключился. Я так и не успел его спросить, отведал ли он сам целительных встреч.

Ремонт в подъезде, наконец, кончился, только вот лифт так и не работал, и каждый вечер меня по-прежнему томили и звали окна.

Наступили майские, жена поехала с детьми на дачу, собиралась вернуться через несколько дней. Я остался в городе и позвонил вам вечером, как только проводил их. Доктор, вы прозвучали довольно приятно и так… по-свойски, наверное, это профессиональное, мы тут же договорились о встрече, все разъехались, у вас было два освободившихся места, я выбрал ближайшее, поздним утром следующего дня.

В тот день вдруг резко похолодало, помните? Черемуха ли зацвела? Мутно-белым было то утро и совершенно пустым. Я домчался по свободной Москве за двадцать минут.

Доктор, вы удивили меня. Большеглазый, смуглый, примерно моих лет, может, немного старше, с лысиной вполголовы, окруженной черной волнистой порослью, с плавными закругленными жестами, вы мягко двигались, неторопливо говорили. В каждом вашем движении сквозила надежность. Джинсы, серая рубашка навыпуск с закатанными по локоть рукавами, косматые руки, коричневые вельветовые тапки – казалось, я заглянул к соседу, которого застал за починкой полуотвалившейся дверцы шкафчика в ванной или каким-нибудь другим, таким же домашним и уютным, делом.

Квартира была просторной – бывшая коммуналка – и довольно потертой, но чистой, вымытой. Где-то в конце длинного, заваленного обувью коридора звенела посуда, слышались женские голоса, тянулись запахи съестного – там явно располагалась кухня, готовился обед. Я был сыт, но слюнки так и потекли – жарящийся лук, чеснок, картошка – я узнал их дыхание – и внезапно тоска по обычному, слегка скучному, рутинному, но вкусному и регулярному семейному обеду заскреблась во мне.

Вы провели меня в неожиданно лаконичный, освобожденный от лишних предметов небольшой, но очень светлый кабинет. Здесь был свежий, совсем не коридорный воздух, наверху была открыта фрамуга. Как это было тактично с вашей стороны, доктор, завести окно с высокой недоступной фрамугой, всегда думал, что это достояние исключительно казенных учреждений, она здесь была единственным намеком на то, что я пришел в кабинет врача.

Белые в легкой бежевой крапи стены почти полностью закрывали застекленные стеллажи до потолка, цветные обложки книг служили здесь главным украшением. У окна, в правом углу, стоял большой стол из черного дуба, почти голый – письменный, очевидно, подаренный прибор поблескивал золотыми полосками. Лежал здесь и длинный синий блокнот, уткнувшись ребром в медный колокольчик с аккуратным ушком на верхушке. Колокольчик немного выбивался из аскетичного пейзажа, а главное, я никак не мог понять его назначение, неужели у доктора Грачева – прислуга, которая является по звонку? Тогда почему сразу не сонетка – длинная лента ткани вдоль стены, видел такую однажды в музее?

Пока я обдумывал это, вы уже усадили меня в кресло – напротив женского портрета на стене, явно итальянского. Женщина сидела к зрителю почти спиной, в четверть оборота – только край бледно-розовой щеки, не понять ни лет, ни красоты, хотя, судя по осанке, она была молодой, почти юной. Но гораздо ярче ее юности и предполагаемого очарования на картине сияло южное весеннее солнце, которое золотило ее волосы, тонкие белые кисти, она сидела у раскрытого окна: там, под пылающим кругом света, цвели сады, дальше зеленели пастбища, паслись коровы и уже у самого горизонта горело нежно-голубым озерцо. Видно, и ей, и художнику глядеть в окошко было значительно интересней, чем позировать и вырисовывать очередные глаза и губы.

Мы сели друг напротив друга, разделенные узким журнальным столиком, таким же черным, как письменный стол.

Доктор, я повторил вам ложь про бессонницы и так ничего и не рассказал про свои приступы. Только помянул о странной печали, которая, я сказал, мешает мне как следует уснуть.

В ответ вы расспросили меня о моем здоровье, померили давление, проверили рефлексы, из соседа вы как-то незаметно превратились в спокойного четкого врача. Осмотрев и отслушав меня, сказали, что физически я, похоже, здоров и

что неплохо бы вспомнить, когда все это у меня началось, с бессонницами, нащупать источник и встать у него. Осторожно предположили: разгадка, возможно, там.

Я тут же вообразил себе, как стою у воды цвета зрелой черники, бьющей прямо из-под жирной черной земли в мелких веточках, коричневых листьях, мятых шишках; за плечами высятся полупрозрачные сосны с темными кронами, кто-то тихо стрекочет в сине-черной траве – я стою на самом дне ночи за полчаса до рассвета… Когда эта ночь обрушилась на меня?

Мы проговорили чуть более получаса, после этого вы поднялись, перешли за письменный стол, сели в крутящееся кресло, раскрыли блокнот, выдернули перьевую ручку из письменного прибора и начали составлять рецепт. Так вы и сказали: подождите немного, я должен выписать вам рецепт.

Раза два заглянули в айпад, что-то проверив, он лежал во внутренностях стола, и в какой-то момент вы его достали и положили рядом. На несколько мгновений вы задумались, точно прикидывали что-то, и в итоге писали довольно долго. Я успел поглядеть в очерченное прямоугольником фрамуги небо, плотно затянутое белыми облаками, увидеть, как ветер гнет деревья в совсем юной зелени, быстренько проверить в мобильнике почту, в ней лежало два новых письма – из турагентства «Пятница» об очередных охренительных скидках и от нашего бухгалтера, которому и в праздники не спалось, перьевая ручка все поскрипывала. Наконец, судя по краткому волнистому жесту, вы поставили подпись и потянулись к колокольчику. Подняв его над листком, вы перевернули его вверх ногами, я приготовился к звону, но услышал лишь тихий шелест: из ушка посыпался светлый речной песок. Это был дозатор, никакое не ушко и не колокольчик – емкость для хранения песка. Через несколько шуршащих мгновений вы подули на засыпанный песком листок, светлые струйки полетели на черный стол.

Я не мог сдержать иронической улыбки, разглядев, что писали-то вы на узкой полоске шершавой желтоватой бумаги, специальной выделки, призванной изобразить то ли старину, то ли священнодействие, – не так прост оказался синий блокнот.

– Знаете ли вы, что раньше письма иногда погромыхивали? – поглядели вы наконец на меня с какой-то подчеркнутой серьезностью. – Весь песок не сдуть, что-то попадало в конверт, если потрясти, письмо издавало звонкий шорох!

Вы скрутили листок в легкую трубочку, чуть потрясли ее в воздухе, точно подтверждая свои слова, и протянули мне.

Я развернул этот потешный свиток. Он оказался исписан ровно по центру, угловатым, но идеально разборчивым почерком.

Архангельский переулок, дом 15А

Чистые пруды

Мясницкая

Лубянка

Лубянская площадь

……

– Что это? – спросил я, отчего-то начиная злиться.

Похоже, меня вовлекали в игру, на которую я не давал согласия.

– Рецепт. Я прописываю вам прогулки, – впервые за всю нашу встречу вы широко и словно против воли улыбнулись, мне показалось, стеснительно, смущенно. Но смущение мелькнуло и тут же растворилось, будто на миг я заглянул куда-то, где вы не хотели лишних свидетелей.

– Как только, – продолжили вы уже без улыбки, – все, о чем вы мне рассказали, но, быть может, еще в большей степени то, о чем вы не сочли нужным рассказать, начнет вас донимать слишком сильно, отправляйтесь по указанному маршруту.

– Толик сказал, вы невролог… Вы невролог?

– Вам показать диплом? – вы сделали жест, но я замотал головой.

– Вы смеетесь надо мной? – против воли голос мой прозвучал беспомощно.

Так и было, доктор, беспомощность, а еще чувство фальши и уже свершившегося обмана затопили меня.

– Отнюдь, Михаил, отнюдь, – спокойно и весело откликнулись вы, и это неясное веселье разрасталось в вас с каждым словом. – Я не договорил. Вы не только должны будете пройти по маршруту от начала и до конца, затем – и это не менее важно! – прошу вас, обязательно запиши?те все, что с вами случилось во время прогулки, все, что вам удалось заметить или понять. Внизу я написал свой электронный адрес – отправляйте ваш отчет на него.

Доктор, я нарочно повторяю все, что увидел и услышал у вас на приеме, так подробно, проверяю себя – так и было? Это не сон? Не греза и не мой ночной бред, верно? Потому что с того момента, как вы подули на ваш листок, когда тонкие струйки песка осели на черный деревянный стол, меня окутало ощущение странной дремы. Оттого что я все время не сплю, я постоянно погружаюсь в полусон, совсем краткий, длиной в несколько мгновений. И все же я нашел в себе силы разорвать наплывающую дремоту, стряхнуть с себя ее клочья и произнести:

– Вы хотите… Как можно лечить прогулкой по центру Москвы бессонницу?

– Не прогулкой – прогулками. После того как вы проделаете этот путь и я прочитаю ваш отчет, пропишу вам следующий рецепт.

– Но почему тогда все это, простите! так смахивает на балаган? Зачем вам? Перо, песок, свиток… Неужели нельзя без… песка?

– Извините, рад был бы вступить с вами в дискуссию, – вежливо улыбнулись вы, – но у меня следующий пациент.

Кажется, я его встретил, вашего следующего пациента.

Едва я вышел на улицу и сделал несколько шагов прочь, к вашему дому подъехал сияющий белый «мерседес», молодая женщина с рыжеватым каре, в короткой кожаной юбке цвета перезрелой вишни и темных высоких сапогах выпорхнула из машины, пикнула сигнализацией, направилась к двери. Я отошел в сторону, оглянулся – она стояла в четверть оборота, как на той итальянской картинке в вашем кабинете, доктор, и так же не разглядеть было толком возраста и лица, потому что она отвернулась, ее занимало другое.

Из кулака у меня торчала плотно сжатая бумажная трубочка. Я развернул ее и прочитал снова, уже до конца: после Соловецкого камня значился Театральный проезд, лавочка у Большого с пометкой «отдых», Моховая, Воздвиженка, потом еще кафе «Шоколадница» с пометкой «чашечка кофе» (йе!), замыкала столбик часовня Бориса и Глеба.

Как бы это объяснить, доктор?

У подножия поднимающегося цунами вы уложили желтенькую бумажку. Да, вы не знали про цунами. Все равно!

В конце грамотки обнаружилась и рекомендация, тоже написанная в столбик, убористо и мелко, потому что ме?ста уже не осталось:

Внимательно смотреть вокруг,

смотреть и слушать!

E-mail: doctorgrachev@gmail.com

В сочетании перьевой ручки с электронным адресом мне почудилась новая издевка. Мошенник. И шут!

На улице было так же пасмурно и зябко. Я снова расправил бумажный комок, разгладил и разорвал на клочки. С наслаждением выкинул в мусорное ведро, стоявшее рядом. Отер о брюки ладони. Сдул две прилипшие бумажные соринки с рукава пиджака. Выругался – черно, длинно, вслух.

Шедший мимо седой человек с очень прямой спиной и видом отставного военного инженера хмуро зыркнул в мою сторону, но промолчал.

А мне полегчало.

В машине я позвонил Толику. Что он имел в виду? Кидая телефон клоуна?

Толик не отвечал. Стоя в пробке, набрал его снова – все так же тянулись караваном безответные гудки, затем он был вне зоны доступа. Заехал на мойку и, пока мыли мою машину, съел борщ в кафешке при мойке. Вернулся домой и проспал как убитый до темноты – впервые за эти месяцы.

Вечером позвонил Толику на домашний, трубку взяла Кира.

– Толик уехал на праздники. Рыбачить. Да, как обычно. Дня через три вернется.

Она произнесла это совершенно равнодушно, мол, куда денется, не пропадет, и мне стало обидно за Толика. Впрочем, он никогда на нее не жаловался. Только сбега?л на рыбалку.

Толик. Доктор, он тоже важен, если бы не он, я никогда не отправился бы в путешествие по вашему маршруту, вообще без него многого бы не случилось. Например, я не встретил бы Наташу и вряд ли прочитал Уитмена.

3.

Мы познакомились лет двадцать назад, на одном из тех семинаров, что росли тогда в университете, как грибы под теплым дождичком новых времен. Я учился на журфаке, Толик на философском. На его факультете и открылся этот семинар по философским корням американской поэзии XX века, но, как выяснилось на первом же занятии, на самом деле по комментированному переводу с английского на русский.

В основном это были поэты, которых у нас переводили мало или даже замалчивали. Пока все не поменялось в стране.

Объявления о семинаре повесили и в нашем здании, и я поехал на «Университет». Семинаром руководил гладко выбритый старичок с осанкой и внешностью владетельного барона, но, как немедленно обнаружилось, – зануда, готовый обсуждать оттенки значений каждого слова вечность! За полтора часа мы прочитали всего несколько строк, уже не припомню, из кого, по-моему, из Элиота, это было, кажется, что-то в античном духе, я все равно не понял ни слова. На следующий семинар толпа желающих читать Элиота, Паунда и Одена сократилась до горстки самых стойких. Всего нас осталось человек восемь. Мне хотелось подтянуть английский, Толик, кажется, и в самом деле надеялся разобраться в философской подпитке их сочинений. Но на третий раз старичок заболел, и болел долго, потом появился только однажды и исчез навсегда. Так все и оборвалось. Зато мы успели познакомиться с Толиком Извольским.

Я заметил его уже на втором семинаре. Он предлагал самые смелые слова для перевода, так и сыпал датами военных битв Севера и Юга и именами американских президентов. После семинара мы вместе пошли к метро, не нарочно, скорее, так получилось. Уже около качающихся стеклянных дверей Толик предложил не тащиться в метро, а погулять по Ленинским горам.

Он недавно приехал в Москву и относился к ней романтически. Был влюблен в Остоженку, Ордынку, даже в наши университетские края, много гулял. Говорил, на ходу думается лучше.

Наверное, это единственный известный мне случай, когда форма до такой степени противоречила содержанию, или наоборот. Толик был невзрачный. Тогда – совсем. Невысокий, худенький, в очках с толстенными стеклами, вечно в чем-то застиранном и сером, и волосы у него были серые, бесцветно-русые, он не любил стричься, но и мыться недолюбливал, сальные пряди, заложенные за уши, – какой-то детдомовец, которому остро не хватало заботливой женской руки. Потом оказалось: так все и было! В общем, печать отверженности или потерянности лежала на нем, и, казалось, тихий мрак прятался где-то там, под очками, в уголках глаз.

Но этот угрюмый мальчик был настоящим вундеркиндом, в школу он поступил в пять лет, в университет в пятнадцать; когда мы познакомились, ему не было и

семнадцати. К тому же стоило Толику увлечься, заговорить о том, что его действительно волновало, он вспыхивал, буквально, и начинал сиять изнутри. Как это было верно со стороны просветителей, или кого там до них, сравнить разум со светом. Хотя с такой отчетливостью я видел это только в моем друге, видел, как интеллект, вдохновение, разум вмиг освещают его лицо, и… происходит чудо. Толик на глазах хорошел, он словно вырастал, милел, глаза его разгорались, щеки розовели, он начинал часто и восторженно моргать, да, была у него такая смешная привычка – моргать, в тот раз он восхищался Витгенштейном, которого как раз прочитал, и, пока мы шли мимо сияющего главного здания, рассуждал о покровах, которые язык набрасывает на мысль, о том, что на фоне вечно меняющей одежды мысли молчание – гораздо основательнее и точнее любого слова. Но сам он не замолкал, конечно.

– Только то, что мыслимо, возможно. Одеяние мысли – язык, и значит, того, что я не могу сказать словами, не существует, границы моего языка – это и есть границы моего мира… Долой невыразимое, оно отменяется! – Толик смеялся, захлебываясь этой мыслью и ее простотой, мы шлепали по мокрому мартовскому вечеру, я наступил в лужу, нога тут же промокла. Но какое это имело значение? Если…

– Если весь наш мир – не набор физических объектов, событий, нет, всего этого не существует вне языка. Факты и события появляются только когда о них сказано. Это такой языковой Беркли, понимаешь? Зажмуришься – ничего нет. А язык – это город, огромный, сложный, который строит, оформляет нас, да что там… нас создает!

Я смутно представлял себе, кто такой Беркли, кажется, идеалист? И не совсем понимал, почему язык создает нас, а не мы его, но кивал, не противоречил. Я был доктор Ватсон, Холмс несся на всех парах к разгадкам тайн бытия, но я не обижался, мне нравилось следить за его идеями, идеями гениального ребенка.

Никогда до встречи с Толиком я не знал, что процесс думанья вполне осязаем, что мысль может быть такой многоцветной и страстной – перед тобой точно развертывают узорчатую ковровую дорожку (ткали мастерицы-турчанки), она двигается по воздуху, а мы с Толиком по ней идем, Толик быстро, я чуть отстаю, и неизвестно, куда дорожка свернет в следующий миг: соскользнет вниз, взмоет вверх, вильнет направо, и как изменит цвет – станет синей, процветет яркой зеленью или на ней проступит дурашливый белый горошек. Мысль Толика была так же реальна, как мартовская хлябь у нас под ногами и мой промокший носок –

потому, видимо, что была выражена на человеческом языке.

Доктор, не умею лучше, но призвание Толика действительно состояло в том, чтобы думать, причем на предельно отвлеченные темы, так полюбившаяся ему идея о том, что язык творит и оформляет нас, имела видимое воплощение в нем самом. Это он, когда мыслил и проговаривал то, что придумал, вслух, становился конкретным, острым, цельным. Стоило ему расслабиться, перестать напрягать мысль – его заполнял внутренний студень, слюдянистый, бесформенный, Толик в моменты кризисов – это мне тоже потом пришлось наблюдать – был ужасен. Распадался почти на глазах, сидел с остановившимся взглядом, чуть приоткрытым ртом, не в силах завязать шнурок.

Интересно, что на философский, для которого, казалось, создан, он решил поступать в последний миг. Золотой медалист, Толик приехал в Москву из среднеазиатского большого города, поселился у дядюшки и уже ехал отдавать документы на физический, но по дороге возле метро купил у какого-то забулдыги, распродававшего библиотеку, книжку о природе философского знания, старенькую, истертую. Купил из жалости, немного из любопытства, за копейки, раскрыл – и пока добрел с этой книжкой до университета, передумал становиться физиком. Подал на философский и легко поступил, после чего намертво разругался с отцом, главным инженером оптического завода, обладателем множества авторских свидетельств. Отец хорошо знал, что такое квантовая оптика и физика твердых тел, большой портрет Ландсберга, рассказывал Толик, висел у них над кухонным столом, отец однажды, еще мальчишкой-первокурсником, встречал и слушал его здесь же, в Москве. Философия в глазах закаленного оптика отзывалась издевательством и насмешкой над квантами, электромагнитными волнами и всем, что можно измерить. Он разгневался до такой степени, что лишил сына довольствия, и если бы не московский дядя Марк, отцов родной брат, который подкармливал племянника, непонятно, как бы Толик вообще выжил. Про маму речи тогда как-то не шло, Толик ее не поминал, хотя постепенно выяснилось – ее нет в живых, она умерла, и страшно, потом расскажу, как.

Тем, кто ему нравился, Толик дарил тюбетейки, завезенные с родины в товарном количестве, говорил «кушать» и «выкупаться» вместо «мыться». Он прочитал всех, кого начали активно издавать тогда, от Фрейда до Бубера, от Шестова до Хайдеггера, а заодно, уже в университете, вдруг увлекся поэзией, преимущественно американской, но и британской слегка. Память у него была фантастическая, и своих любимцев он шпарил наизусть.

Вот и во время той прогулки после семинара, когда мы спустились к набережной, Москва-река посверкивала первыми полыньями – Толик, запрокинув голову, кричал Уитмена. По счастью, прохожих почти не было, мы шагали одни, Толик читал по- английски, и тут же ритмично переводил, запуская в сиреневое отсыревшее небо мягкие гирлянды строф.

О, радость машиниста! вести паровоз!

Слышать шипение пара, радостный крик паровоза, его свист,

его хохот!

Тут Толик и сам начинал хохотать и потом уже смеялся над своим воодушевлением.

О, радость пожарного!

Я слышу тревогу в ночи,

Я слышу набат и крики! Я бегу, обгоняя толпу!

Вижу пламя и шалею от восторга[1 - Перевод К. Чуковского.].

– Слышишь? Видишь? – уточнял он.

Я слышал и улыбался, Уитмен мне тоже нравился, особенно в исполнении Толика, хотя прежде я никогда не читал его стихов. Я любил Серебряный век, наших поэтов, и в ответ пулял в Толика строфой из Северянина или Гумилева.

Перед дверью над кустом бурьяна

Небосклон безоблачен и синь,

В каждой луже запах океана,

В каждом камне веянье пустынь.

И паровоз, выставив черную трубу, дымил, коричневые вагоны с лиловыми окошками в лимонных рамах качались, красные пожарные машины выли и перли прямо к набережной, разбрызгивая мягкий серый лед, поперек, с берега на берег, небо вспыхивало ярко-синим… Слово творило реальность, прямо на

глазах, доктор! Я начинал ощущать запах дыма, то ли из паровозной трубы, то ли от пожара, который мчались тушить сумасшедшие пожарные.

Я полюбил Толика, такого ослепительного, талантливого, жившего жизнью духа и почти в такой же степени жалкого. Он так мало был похож на моих журфаковских склонных к гусарству приятелей! Его хотелось, с одной стороны, обогреть – он же был младше на полтора года, к тому же мне по плечо (хотя потом, кстати, вырос, мы выровнялись к концу университета, он еще рос, доктор!), с другой – слушать, впитывать его вдохновенные речи, они будили меня, намекали на иное измерение бытия, с третьей – всем его показывать, как чудо, всех им угощать. Даже родителей. Толик жил в общаге, безбытно, голодно, и я постоянно зазывал его к себе, тогда отец с матерью еще были вместе, мама кормила его от всей души, ужасалась, что он такой худенький, восхищалась его знаниями и талантами, словом, жалела, даже воскликнула однажды: давай мы тебя усыновим! Толик взглянул на нее мутновато: «Не стоит, хотя матери у меня действительно нет, умерла, пока я ездил в лагерь для одаренных детей». Так мы и узнали. После этого мама действительно чуть его не усыновила, а отец, суровый материалист и марксист, веривший только в цифры, не помягчел – жестко с Толиком спорил. Но переспорить не мог.

Нередко Толик зависал у нас на два-три дня, оставался ночевать в моей комнате, книги, которые обычно лежали на узком диванчике, на время этих ночевок перекладывали на пол. Прежде чем уснуть, мы говорили взахлеб до тех пор, пока ночь за окном не выцветала, а язык буквально переставал ворочаться, и беседа прерывалась на полуслове. Однажды после такого ночного бдения с болтовней о разном – это было уже в конце третьего курса, под конец весенней сессии – Толик позвал меня на дачу, к сестрице – двоюродной, дочке того самого дяди Марка, который в свое время не дал ему умереть голодной смертью. Из химика дядя Марк, рассказал Толик, превратился в процветающего бизнесмена, открыл свое дело, что-то, связанное с производством пластика. Его дочкой и оказалась Наташа. Она училась в консерватории, на музыковеда, Толик решил отметить у них свой день рожденья, в узком семейном кругу…

Мы приехали ближе к обеду, ее мать, высокая, темно-рыжая, покормила нас чем-то горячим и необыкновенно вкусным. До сих пор помню привкус какой-то травки, хотя что именно украшал этот привкус, не помню. Она (Анна Олеговна?) относилась к Толику по-родственному и постоянно слегка его язвила – Толик был здесь в роли чудака, потешного, но милого, своего. С одинаковым выражением лица Анна Олеговна подсмеивалась над Толиком за очередную опрокинутую

чашку с компотом и приструнивала их желающего полакомиться чем-нибудь со стола пятнистого дога, покуривала на ходу, шутила, да так, что все покатывались, а потом свистнула псу и ушла с ним в «дальний лес» – «прошвырнуться», а может, просто чтобы нам не мешать.

Наташу я на этом шумном фоне особенно не заметил. В отличие от своей громогласной и длинной матери – невысокая, тихая, волосы собраны в такой же, как у мамы, рыжий хвост, глаза темные с легкой зеленью, она показалась мне совсем, слишком юной – школьница да и все. Однако музыковед. Когда Толик произнес это слово в электричке, я заржал так, что ехавшие с нами двое гостей, парочка однокурсников с его философского, поморщилась, явно неодобрительно. Вадим, больше похожий на громилу-футболиста, чем на исследователя Аристотеля, недовольно хмурился, Алена с несходившим выражением прилежной ученицы на лице, вечная отличница, залилась краской стыда за меня перед другими пассажирами, но я все не мог успокоиться. Нет, ну правда смешно. Тем более произнес это Толик с необыкновенно важным видом: «Наташа – будущий музыковед». Я все пытался им это объяснить, и в конце концов они тоже начали смеяться.

После обеда Толик предложил сразиться в настольный теннис – позади дома стоял новенький, свежекупленный стол.

Я играл так себе и занял позицию наблюдателя. Смотрел, как Наташа сражается сначала с Толиком, потом с Вадимом, прыгает за мячиком, подает, берет, крученые, перченые, вскрикивает от обиды и ликует, когда выигрывает очко, – смотрел и оторваться не мог, ловил каждое ее движенье – легкие прыжки, худенькие запястья, мельканье ракетки в руке, дрожанье ресниц, карие с прозеленью глаза, которые так и вспыхивали, стоило ей отбить сложную подачу.

Все, что она делала, она делала всей собой, доктор! Целиком жила мгновением, которое проживала, и это захватывало. Это было похоже на музыку, классическую, то тревожную, страстную, то топящую в блаженстве – как она двигалась, как склоняла голову, как говорила – все это можно было слушать, не понимая, погружаться с головой. Я влюбился, доктор. И как!

Сессия закончилась, мы с Толиком все лето ездили к ней на дачу, несколько раз даже заночевали на соседней лужайке, в палатке. Вадим с Аленой, какие- то знакомые лингвистки, тоже из универа, подружки, одна смуглая, другая белокурая, довольно красивая, с мягким, теплым и зовущим взглядом, на

который почти невозможно было не отозваться, но кто отзывался – обламывался, зато та, что посмуглей, лучше всех играла в мафию и, как выяснил вскоре Леха, оказалась намного доступней подруги. Леха был соседом Наташи по даче, при нем еще была старшая сестра Ира, оба костистые, белобрысые, чуть попроще, чем остальные, зато спортивные, опытные грибники, рыбаки и лодочники – словом, у нас сложилась отличная компания. И резвились мы как можно только в ранней молодости, когда от детства тебя отделяет всего несколько лет: резались в бадминтон и теннис, пекли оладушки на костре, катались на двух надувных лодках по местному пруду и устраивали морские побоища… Толик подначивал всех играть, он обожал детские и полудетские игры – и мы сражались то в убийцу, то в мафию, изредка в энциклопедию – ночи напролет.

Внезапно лето кончилось, но мы с Наташей уже были парочкой, встречались в Москве, исходили все околоконсерваторские улицы и переулки вдоль и наискосок, целовались на лавочках и в подъездах, но не переходили черты. Наташа не давалась, я покорялся, пока зимой, нет, в самом конце зимы, мы не рассорились вдрызг. Все к этому шло, мне давно уже стало казаться, что она начала меня избегать, все неохотнее соглашается увидеться, но я не верил своим ушам и глазам. А потом… даже не хочется вспоминать, ревность, гордость, обида, как страшно я в тот вечер кричал, доктор, усадив ее на заледеневшую лавку Александровского сада, и до сих пор это одно из самых невыносимых воспоминаний. Как я ору на посиневшую от холода девушку, забывшую дома варежки, засунувшую руки в рукава, хлещу словами человека, дороже которого у меня никого нет, перечисляю все ее прегрешения, возмущаюсь, что на кого-то она не так посмотрела и такая-то подружка ей, судя по всему, в тысячу раз дороже меня, а еще… но на самом деле все это от нарастающего отчаяния, доктор! Я уже тогда понимал – никогда она не будет моей, ускользнет, и способа удержать ее руку в своей не существует.

Через два дня я просил прощения, звонил, написал письмище в стихах, и она в общем меня простила, но так и не допустила до себя. Я пришел все равно, приперся без предупреждения к ней домой, она не открыла! Крикнула через дверь, что должна заниматься, что не может, не может пока меня видеть, что кому-то что-то там обещала. Тогда я спустился в магазин «Охотник», он был в том же доме, внизу, купил широкий перочинный нож и изрезал ее кожаную дверь. Знаете, какое слово я вырезал огромными буквами поперек всей этой дурацкой двери? «Моя-моя-моя».

И еще два месяца мы не общались, уже мертво, только поэтому я кое-как дописал диплом, скоро предстояла защита, кончался май. Тут Толик и проговорился. В своей аспирантской каморке, про завтрашнюю свадьбу.

4.

Но еще немного прошлого, еще каплю прошлого и Толика, доктор. Он так и не защитился тогда, нет. Написал блестящую диссертацию, про языковые табу и защиты от смерти в языке и культуре, что-то между философией и лингвистикой, его научный потребовал еще написать длинную вступительную главу с обзором достижений предшественников, как водится – Толик отказался наотрез, сказал, что он практически первопроходец в теме, значит, это – пустая формальность, ни строчки он не добавит. И отправился работать в школу. Бросил философию, хотя она-то чем была виновата, вернулся к когда-то любимой физике. Дети его обожали, ходили за ним хвостиком, в его кружок набивалось полшколы. И сам он стал говорить, что просвещение умов и сердец – единственное, чем имеет смысл заниматься, что с детьми ему «чище и свежее всего», а я думал тогда, что Толик отчасти сам застрял в их возрасте, вот поэтому так и получилось. Но школа его и убивала. Там было слишком много рутины, вероятно, времени на думать, читать она почти не оставляла. И года через три-четыре плотной учительской жизни Толик начал сникать, гаснуть – изнутри.

Мы все еще общались, но реже, суше – у меня, наоборот, дела шли в гору, но в областях, которые не были ему интересны. Я поработал в разных новых пооткрывавшихся газетах, потом на радио, это было неплохое для журналистики время – разоблачений, расследований, гласности, войн либералов с почвенниками. Толик называл все это «апологией поверхностности» и предсказывал: ненадолго, сейчас все хлещут свободу слова прям из горла?, забывают даже пользоваться бокалами, но скоро, скоро источник ее загрязнится, а там и иссякнет. Угадал, но тогда, в середине девяностых, слушать это было почему-то обидно. Как он мог отзываться так о деле моей жизни? Однако пик свободы действительно незаметно оказался позади, я сам, да и все мы это ощутили, ощутили, как ряска затягивает все наши дебаты. Тут двое моих однокурсников по журфаку, трудившиеся в популярном медицинском журнале, вдруг почувствовали что-то и решили открыть фирму по продаже стоматологического оборудования, им требовался третий. Я рискнул. Захотелось попробовать нового, возмечталось о честной угрюмости реального дела.

Зубные клиники росли тогда как на дрожжах, и все жаждали иностранной техники. Мои приятели почувствовали все верно, и все же сами не ожидали, как стремительно мы рванем вверх, через два года у нас был уже офис в центре и нехилый постоянный доход – впервые я ощутил, в какую свободу, но и растерянность (с непривычки) погружают большие деньги. Довольно скоро после расцвета нас, правда, благополучно съели, и все мы отправились служить к нашим же вчерашним, но более успешным партнерам, впрочем, оказались при очень достойных должностях, успев за несколько тучных лет обзавестись кто чем. Я поменял несколько машин, от «жигулей» до “BMW”, приобрел квартиру в том же, что и родители, доме. Матери уже не было в живых, скоротечный рак постиг ее сразу после внезапного развода, отец держался, но что характерно – хоть и был ходок, из-за этого в конце концов и развелся, ни одна из его подруг так и не задержалась с ним надолго, он остался холостяком. Как и я. В квартире двумя этажами выше.

К тому времени мы уже несколько лет не общались с Толиком, как-то не о чем стало говорить. Как вдруг он позвонил, на мобильный, сказал, что соскучился, предложил встретиться.

Доктор, я ему обрадовался! Так! Буквально засмеялся, услышав его голос. И сразу под этот такой знакомый, высокий, чуть сиплый голос подумал в ужасе: что это? Почему мы так давно не общались? Почему за все это время я ни разу не поинтересовался, как он? Где? Не оттого ли, что он был Наташкиным двоюродным братом… а мне хотелось ее только забыть. Потом выяснилось, затем Толик и позвонил, из-за сестрицы, но я понял это совсем не сразу. Мой старый друг звал меня повидаться, если могу. Я мог! Мы забили стрелку в пивнушке – довольно симпатичном, свеженьком заведении, открывшемся месяц назад, каждый день проходил мимо него в офис.

Все там было с иголочки: дубовые столы, лавки, неумелые, но старательные официанты. Стены были выкрашены в нежно-апельсиновый цвет – смелый дизайнерский ход, я бы сказал, но в результате не такой уж глупый: светло-оранжевые отсветы лежали на лицах, столах, сверкающих кружках, создавая ощущение тепла. Едва я вошел с улицы, мне замахал бородач у окна, в пятнистой куртке защитного цвета. Коротко стриженная круглая голова с проступающей лысиной, лохматая темная борода с первой проседью, этот человек напоминал какого-то лесного брата. Толик? Не может быть! Но куда подевались очки? Заметив меня, он поднялся, пошел навстречу, мы обнялись прямо в середине зала, похлопали друг друга по спинам, я вглядывался в

полузнакомое оранжевое лицо. И не узнавал, что-то с ним было не так. Словно какая-то дебелость, вялость, побитость…

Но едва он заговорил остро, резко – вроде отпустило, это был Толик, такой же сбивчивый, такой же безапелляционный и умный. Он начал, как обычно, с середины, не снисходя до предисловий, так, будто мы расстались – нет, все же не вчера, но недели две, скажем, тому назад:

– Бабушку крионировали в Питере, первую у нас в стране; думаю, полная лажа! Они только мозг тем более заморозили.

Он заморгал, так знакомо, что я готов был снова его обнять, хотя и не понял, о чем он, какую бабушку и что с ней сотворили, Толик быстро мне объяснил, что такое крионика, и тут же, без перерыва, заговорил о графене, двумерном кристалле, дико прочном и электропроводимом, который в прошлом году открыли два русских парня, теперь, возможно, с помощью этого кристалла научатся лечить рак, делать суперпрочные автомобили, да и астрономам он не помешает…

Та же безумная смесь, тот же вроде бы Толик. Только ни слова о Лейбнице или Канте, хоть Хайдеггере, на худой конец!

– С философией покончено, ты снова физик?

– Физику я в школе веду, с первого же дня, забыл? Директор у нас пофигист, к тому же физика они полгода искали, словом, да. И доволен! – бодро откликнулся мой друг.

– А как же философия, язык как созидание бытия или дом бытия, не помню?

– Не путай Хайдеггера с Витгенштейном. Что-то я остыл. Философия без естественных наук – пустота в пустоте, об этом еще Вагнер говорил.

– Композитор?

– Зоолог, он потом писателем стал. Но заметь последовательность.

Толик вдруг застыл, точно устал от своего возбуждения, взглянул пусто, болезненно, глотнул пива. Но я все же пустился в спор.

Народу в пивной прибывало, делалось все шумней, временами нам приходилось почти кричать, как когда-то.

– Действие происходит в клинике, – объяснял я Толику, пытаясь рассказать про недавно посмотренную пьесу Патрика.

– В финике? – изумлялся Толик. – Какой бесстрашный замысел.

– Нееет!

Мы ржали. В финике было бы лучше, кто спорит!

Мы заказали по большому чешскому светлому, гору креветок, потом повторили, неотвратимо пьянели, перебивали, подкалывали друг друга, снова смеялись, почти как когда-то, тысячу лет назад. Почти, потому что за эти годы что-то в Толике определенно стало другим, но я не мог понять, что. Этот внутренний студень будто захватил часть территории в нем. Толик явно пока сопротивлялся, но ни разу за вечер не развернул длинной связной мысли, ковровой дорожки, по которой можно было рвануть вверх…

И все-таки это был он, мой старый друг: те же жесты, усмешечки, легкий всхлип в речи, привычка моргать. И я снова думал: как могло получиться, что мы не виделись столько лет? Шесть? Почему самое лучшее мы теряем? Бизнес, женщины, взрослая жизнь, но самое важное, то, что делает тебя человеком, бескорыстные, бессмысленные вещи, тает, как пена на пиве… Я сбиваюсь, доктор, возможно, потому что перемешано все было и в ту встречу. Примерно в середине нее выяснилось, что Толик второй год как женат. Избранницей его стала завуч той же школы, в которой он работал, женщина по имени Кира, к ней прилагался сын от первого брака, Артем, подросток.

– И как ты с ним?

– С ним? – Толик словно удивился вопросу. – Идеально!

И уточнил, подумав:

– Как и со всеми людьми его возраста. В другую школу его перевели, подальше от мамы. Этого оказалось достаточно! Стал там лучше всех… Олимпиады – все его, биолог, будущее светило. Видно, в отца, тот биологию в школе преподавал, – Толик усмехнулся. – Ездил тут даже в Осло, на международную…

Он рассказывал про приемного сына еще долго и почти не поминал жену. Если сын подросток, наверняка она старше Толика. И, скорее всего, его на себе женила. Но и Толик повелся. Устал? Я спросил, куда делись очки, – выяснилось: и тут Кира. Это она переодела его в линзы – говорит, так больше мне идет. Но знаешь, и правда – такая зоркость!

Доктор, когда я впервые увидел Киру, уже несколько месяцев спустя после той пивной встречи, я утратил дар речи – до того она была… огромная. Очень большая, не толстая, но невероятно дородная женщина, выше Толика на полголовы. Думаю, дети при виде такого завуча дрожали! А Толик, Толик – может, надеялся потеряться в ней, опереться на силу и крепость этой Брюнхильды? Видно, зря.

Потому что второе, о чем рассказал Толик, – новое его увлечение, даже два. Рыбалка, а иногда баня. Он теперь полюбил рыбачить, уезжал из Москвы на выходные, ловил рыбу и в речках, и где-то на далеком любимом озере, так он рассказывал, но это вообще был не Толик. Не мог же он превратиться в совершенно другого человека. Который мало того что на рыбалку, ходит в Сандуны!

– Это же развлечения для мужиков, вот они, которые тут, – говорил я.

Толик усмехался, помаргивал.

– А чем я хуже? Гений в отставке, такой же мужик… Разговаривал сегодня утром с отцом, услышал: «банкрот». Какое древнее-то словцо!

– Как он? Там же?

– А где? Дома. Десять лет скучал, злился, завод их развалился, работать негде, в конце концов устроился в оптику, чинит людям очки… Созваниваемся вот иногда… Никак не может смириться. Что я не такой, как ему мечталось. И про рыбалку разве он понял бы… А это ж созерцание, и это тоже я. Не гений, не банкрот, просто человеческое создание, – Толик мечтательно улыбнулся. – Ты представь, утро у реки, июнь месяц, слышен каждый всплеск. Утро, в котором ты один, глядишь на росинки в молодых сосновых иголках, по сверкающему шарику на иглу, бело-розовые облака плывут по воде, закидываешь удочку, и тут поплавок начинает вздрагивать, нырять …

– Это не из Пришвина или кого там, Толян? Что-то слишком красиво, слово творит реальность, да? – Толик мутновато поглядел на меня и … извинился.

– Прости, должен отойти.

Жестокая вещь – пиво, тем более в таком количестве, он побрел, чуть качаясь, прочь, а я думал и не понимал… Что с ним на самом деле происходит? Гений в отставке, но он же сам так захотел! Сам. А может, потому и захотел, что на большее не хватило сил? Но почему же их не хватило, кто его вовремя не поддержал? Отец или мать, повесившаяся на их кухне? А как же всесильный дядя Марк, куда он делся? И не оттого ли, что сил у него оказалось так мало, и сам он не смог толком никому быть опорой, разглядеть, заметить кого-то, кроме себя, выйти из центра, то есть полюбить, полюбить не смог так, чтобы это наполнило его, преобразило. И почему он молчит про Наташу?

Я тоже молчал, ждал, пусть он первый… Но Толик говорил о чем и ком угодно, только не про нее. И еще в нем появилось какое-то новое мертвенное спокойствие, уж не химического ли свойства? На чем он сидел? На каких таблетках, доктор?

Когда мы вышли из пивнушки на мороз, Толик выговорил, наконец, долгожданное имя. Я потом только догадался: ради этого он и вызвонил меня, ради Наташки одной! – но тянул до последнего, словно стесняясь обнаружить: из-за Наташки же, не оттого что соскучился или хотел поболтать, нет – честно выполнял сестрицын заказ. Не нужен я ему был бы еще двести лет.

Его слегка покачивало, он жадно дышал ледяным воздухом, от стриженой головы без шапки и даже от бороды поднимался пар, в темно-серых глазах

плескалось пьяноватое добродушие, но и горечь. Я ощущал себя воздушным, горячим, эта горечь, утешал я себя, просто время, работа времени, уж мы не дети, зато мне в ту минуту казалось, я, наконец, понял, чего мне так не хватало эти последние годы – в чаду командировок и зарабатыванья денег – таких вот жарких, болтливых, нелепых встреч, когда все по-настоящему, встреч без цели. Но была, была цель, я ошибался.

Под мигающим марганцовочным светом фонаря, у которого что-то там сбилось в светильнике, Толик, явно смущаясь, краснея, как в лучшие годы, ушами, произнес:

– Мы про Наташку совсем не поговорили, а там, она… – Толик сбился, а у меня уже все оборвалось внутри. Сейчас скажет: сошла с ума. Или: погибла.

– Плохо дело, – закончил он наконец. – Со своим развелась, помыкалась еще в Америке после развода и не так давно вернулась в Москву. А теперь … Даже не знаю, как сказать. Я все думал, говорить – не говорить. Но там так плохо, что… Она тебя вспоминала несколько раз, хотела видеть.

– Видеть? Меня?

– Да, Миш, тебя.

Толик вдруг протрезвел, посмотрел мне в глаза твердо, тихо, все с той же безысходностью. И повторил:

– Тебя.

«Тебя» опустилось на меня как столп, столп жгучего пара.

Я должен передохнуть, доктор. Пойду выпью еще кофе и, пожалуй, плесну себе в него виски. Какая у меня кофемашина! Зверь. Приходите в гости, угощу.

5.

О том, что Толик отправился на рыбалку, Кира сообщила ровно, разве что со скрытым недовольством, но мне отчего-то стало тревожно. Толик видел, что я звонил, три раза подряд, и не вернул звонки. Хотя обычно всегда перезванивал. Не говоря уж о том, что мне хотелось с кем-нибудь обсудить мой визит к вам, доктор! С кем, кроме Толика – единственного нашего общего знакомого, – я мог поговорить о колокольчике с песком, о желтом рецепте из синего блокнота? Мы, кстати, подружились с ним после той оранжевой пивнушки снова, потом даже начали ходить в баню вместе, в «Сандуны» – раз в месяц, и оказалось – норм! Не такой уж дауншифтинг, удовольствие не хуже прочих, вот и все. И Миша-пространщик, тезка, оказался мастером своего дела. У меня даже спина прошла; как родились близнецы и я начал таскать их по двое, все время вступало…

Вообще обнаружилось, что и Толик мне, и я ему все-таки нужен, и нам снова есть что обсудить. И мы уже не прерывали знакомства, дружили, иногда даже семьями, ходили друг к другу в гости. Несмотря на то что в Толике действительно проступил надлом. Его-то ничто уже, кажется, в последнее время не грело, кроме баньки, рыбалок и, надеюсь, наших посиделок, в остальном он жил по инерции, по инерции интересовался тем, что происходит вокруг, в науке, по инерции читал и учил детей… Какой ядовитый корень в нем пророс и отравлял его? Так и не знаю, доктор, а если кто и знает – вы, только захотите ли вы открыть мне чужие секреты? Признайтесь! Вы лечили его от депрессии? Вы – не совсем невролог, доктор. Я угадал?

Ирка вернулась с дачи раньше времени – ударили холода, и весь вечер того самого дня, после визита к вам, я провозился с Денисом и Ванькой на ковре, строили из конструктора молочный завод. Они на шестом, я на восьмом одного и того же подъезда, так мы решили после очередной ссоры, кажется, я уже писал про это, перечитывать не буду, но так нам действительно лучше. Я жил в двушке, купленной в разгар наших с друзьями финансовых успехов, – сделался соседом собственного отца. Хотя соседство наше продлилось не так долго, отец умер три года назад назад, сердце.

Сразу после этого я и женился, мы поселились в квартире моего детства – двушку сдавали, пока я не въехал в нее снова. При чем тут это? Не знаю. При том, что я, доктор, живу с семьей и без семьи, и в платье и без платья. И, положа руку на сердце, мне это не очень, доктор, я как космонавт, в тонком невидимом скафандре одиночества, который сам же на себя напялил, и так всегда!

Сейчас, сейчас, я должен рассказать самое последнее, доктор. Толик. И нынешние майские праздники.

Он вернулся в сеть, хотя эсэмэску об этом я заметил не сразу, но, заметив, тут же набрал – вызываемый абонент опять был вне зоны доступа.

Вечером я снова, уже ненавидя себя, позвонил Кире, она отвечала, не пряча изумления: «Ты что-то зачастил» – как Толик с ней жил вообще? – однако снизошла и сообщила, что сегодня днем он написал ей. Написал всего два слова: «Я жив».

– Как обычно, – усмехнулась Кира.

Да, это было по-толиковски, его приветствие и ответ. Как живешь? Жив пока.

– Позвонит тебе, Миш, как вернется, я передам. Не сегодня-завтра будет дома.

В самом деле: первый раунд майских кончался, до Дня Победы тянулся мост в несколько рабочих дней, Толик должен был вернуться вот-вот.

Но я улетел в Женеву, потом в Берлин. У меня такая работа, доктор, мотаться к зарубежным партнерам – для полуодинокого мужчины самое то. Хотя тряхнуть стариной, вспомнить журналистское прошлое, побить по компьютерным клавишам да еще с такой бешеной скоростью – прям как перед дедлайном – приятно! Спасибо, доктор, за эту возможность.

6.

Когда я вернулся из всех своих командировок, пошел ужинать на шестой – Ирка вызвонила меня еще в аэропорту, и я спустился, еле живой – рейс перенесли, проторчал в аэропорту три лишних часа… Ирка приготовила говядину с черносливом, мою любимую, я жевал, пил привезенное из дьюти-фри белое, слушал, как текла без меня детская жизнь. Денис бросил в воспиталку игрушечный грузовик, не попал даже близко, но воспиталка все равно жутко разозлилась, объясняла Ирке, как воспитывать мальчиков, сопливая, бездетная девчонка! А Ваня нарисовал посмотри какого медведя – жена принесла. Медведь получился нелепым, вислоухим, с вывернутыми вверх ладошками-лапами, но

смотрел маленькими круглыми глазами, как живой… Внимательно, печально. Знаешь, что Ваня сказал про него? Это папа. Неужели я так тоже смотрю, Ирк? Я даже очнулся. Отставил тарелку, Ира произнесла потусторонним голосом: «Мишенька». Я уж собрался ее утешать, да подумаешь, плевать, как я там смотрю, но онемел от этого Мишеньки… Она не называла меня так с самого моего переезда.

– Никак не могу выговорить, – жена замолчала. И наконец произнесла: Толик.

– Что Толик? Вернулся он наконец?

– Толик погиб, – медленно проговорила она с закрытыми глазами и тут же поглядела испуганно, точно боясь, что я вот тут же за бокалом белого и умру от горя или зарежусь нашим широким кухонным ножом японской фирмы.

Узнала сегодня днем, совершенно случайно, встретила в метро Артема, Толикова приемного сына. Вымахал такой… Не узнала его, он сам первый поздоровался и рассказал. Похоронили два дня назад. От учеников в школе день похорон почему-то скрыли. То есть не почему-то, приехала важная комиссия, шла проверка, тут уж не до похорон какого-то учителя физики. От школы прислали физкультурника и трудовика, двух мужиков, заодно и гроб было кому нести.

Так что на похоронах никого почти не было, только «дедушка», как сказал Артем, – отец его прилетел на похороны. Еще вроде была дочка Марка, знаешь ее?

Я промолчал. Подумал устало: и что? Мне давно уже все равно.

– Даже Киры не было, она не поверила в его смерть. Кажется, она немного… – Ира потерла указательным и средним пальцами висок.

– Не поверила во что? Что случилось вообще?

Я говорил страшно тихо.

Утонул на рыбалке. В своем любимом озере. Вроде и заплыл не так далеко, но внезапно начался шторм. Так бывает на озерах, ветер поднимается резко,

резиновая лодка перевернулась. Спасжилет? Перебиваю я. Да он был в спасжилете, и уже подплыл к берегу, но его ударило о камни, вроде даже пролежал на этих камнях еще немного, живой. Дождь хлещет, ветер – кричи не кричи. Нашли только на следующий день, совсем не там.

Совсем не там.

Это было не из нашей, не из моей жизни. Из новостей, из радио, не про нашего Толика! Кира права. Вот почему она все время повторяла: не он. Он не умер. Да он сам написал ей это: «Я жив».

Толик жив!

На следующий день я вызвонил по мобильному Киру, и, чудо, она откликнулась, прошелестела сорванным голосом, что лежит в такой-то клинике, я поехал к ней сразу же после работы. Медсестра, пропуская меня в отделение, повторила требование врача: не говорить о погибшем муже. Я и не говорил. Кира вышла ко мне в коридор, такая же, как всегда, – в бесформенных штанах, просторной футболке, – обычная вполне, если бы не лицо. Как будто это не Толик умер, она. Значит, любила? Все-таки любила его?

Увидев меня, она сказала, кажется, не до конца меня узнавая: если вы снова о Толике, он жив. Показать вам его эсэмэску?

И впала в отключку, смотрела сквозь – темное каре, очки, строгая, недоступная и совершенно чужая. Ни слова больше она не произнесла, на все мои вопросы молчала, так и сидела с каменным лицом. Я подумал: вот класс-то ее боится, когда она смотрит вот так. И тут же устыдился своих мыслей не к месту.

Оставил ей сок, конфеты, купленные по дороге, побрел к лифту. Наше свидание длилось минут восемь.

Сел за руль и сейчас же погрузился в серую мерзоту.

Серый ледяной мазут, достопочтимый доктор.

Стальная вода озера, на которую плеснули нефтью. Я смотрел на ползучее пятно, а рядом плыл Толик.

В своей резиновой зеленой лодке, он так ею гордился! Он мне про нее рассказывал, даже показывал в телефоне снимок, на сайте того магазина, где ее купил. Не так уж далеко от берега. Собираются облачка, он сидит с удочкой, спиннингов Толик не признавал. Поднимается ветер. Он сидит. Успею! Что ж такое, ни рыбки, позор! Да и берег, вот он, рядом, буквально за спиной, меньше километра, три гребка. Тучи чернеют, темнеет, ветер дует все резче, лодку качает, и Толик сворачивается, наконец, направляется к берегу, но ветер уже такой! Озеро закипает, дождь встает мутной, непрошибаемой стеной. Поздно. Ветер хлещет, брызги и дождь в лицо, ветер не дает грести. Толик упрямо толкает веслами воду, ему все-таки удается немного продвигаться вперед, вот он, берег, только бы не бросило на камни, да пусть бы и бросило, лодка спружинит, в лодке не так страшно, берег – спасение по-любому. Только воды уже выше щиколотки. Толик в рыбацких высоких сапогах, в куртке начинает вычерпывать воду обрезанной пластмассовой бутылкой – эффект нулевой, выкидывает за борт небольшой якорь, ненужный теперь канат, лодка оседает все ниже. Сбрасывает куртку, спасжилет он натянул сразу же, едва поднялся ветер. Он уже по колено в воде, дно уходит из-под ног, так вот что значит это выражение. И как же это жутко, когда не на что опереться. Очередной порыв ветра – конец! Толик оказывается в ледяной, талой еще воде. Его обжигает, но он все-таки умудряется скинуть тяжелые, тянущие ко дну сапоги, и становится легче. Берег рядом, каких-нибудь сорок метров, но волны! Он гребет, захлебывается, наконец, кричит. Как нелепо пропасть вот так, прямо у берега, в двух шагах от земли. Но ногу сводит, сил плыть нет.

И тут раздается рокочущий звук. Катер.

На катере я.

Тревога все мучила и мучила меня. Не сумев связаться с Толиком в тот день, когда он оказался в зоне доступа, я отложил все, отпросился у шефа и поехал. Раза два он звал меня порыбачить на это озеро, тогда так и не получилось. Теперь собрался в несколько минут. Ничего, конечно, не взял с собой, только сапоги, только куртку поплотней. Оставалась еще ночь на поезде или несколько часов на самолете, потом автобус или такси. Я рванул в аэропорт. План мой был прост: найти Толика, убедиться, что с ним все в порядке, что на мои звонки он не отвечал по чистому разгильдяйству, и спокойно вернуться в Москву. Обернуться

можно было за сутки.

Мне все время невероятно везло, за час до отлета купил билет, таксист, подхвативший меня в местном грязном аэропорту, оказался профи, довез по рытвинам до самого озера за сорок минут. Я приехал вовремя. Дул ветер, кропил дождь, поднималась буря. На пристани от пьяненького лодочника с печеной картофелиной вместо лица я узнал, что Толик, скорей всего, там, на бурлившей уже воде, отплывая, он говорил с этим лодочником, но это было часа два назад, тогда еще солнце светило. «Тут у нас быстро, – открывала картофелина рот. – А теперь разве сыщешь? Если только мотор». И у него был, был мотор, катер – любимый, устойчивый, непобедимый, вынырнувший из многих переделок, но проклятый лодочник никак не соглашался дать его мне. Напрокат! «И сам утопнешь, и машина пропадет».

Тогда я вынимаю из кармана купюры, одну, другую, восьмую – хватит на месяц-другой безбедной жизни, даже на новый катер…

Он, выпучив глаза, сует в карман брезентовых штанов цветные бумажки и, так уж и быть, наспех объясняет мне, куда нажимать, как управлять и… «заметишь человека в воде, носом к нему вертись, носом, слышь-ка?». Я слышу и жму на рычаг. С берега все казалось не так страшно, и озеро покрывала рябь, но на воде – катер оказывается невесомой щепкой железа. Его качает, мотает, как игрушечный, на этих не таких уж высоких, но страшно круто, резко взлетающих волнах, меня мутит – плыву в открытую воду. Все время вслушиваюсь, нет ли посторонних звуков, но нет, только рычит мотор и вода злобно хлещет о борт, в рожу брызжет, нет, катеру не справиться, как вдруг различаю что-то похожее на человеческий крик, кажется, сзади… Разворачиваюсь, плыву наугад и вижу: темно-оранжевое, полощущееся в сером пятно, недалеко от берега, ближе к камням. Подплываю – кричу. С трудом улавливаю ответный крик, страшно слабый, едва слышный. Толик, ты? До этого он отчаянно греб, а тут замер. Подплываю к нему носом, как велел пьяный лодочник, как можно ближе, катер качает, бросаю спасательный круг на веревке, он никак не может его поймать, круг относит, бросаю снова, но волны, ветер, и сил у Толика нет, бросаю еще и еще, пока не попадаю, почти в самые его руки, ветер чуть стихает, волны перестают так бить, становится легче. Толик вцепляется в круг, я тяну его к себе, получается страшно медленно, наконец вытаскиваю его из воды до плеч, он подтягивается, переваливается через борт, падает на дно. Лежит. Кричу ему: жив! Ты – жив! Он не отвечает, губы синие, не шевелится, что я за идиот, ничего согревающего не взял с собой.

Но берег вот он, действительно рядом, и пик шторма уже позади. Вскоре мы уже бредем по деревянному настилу пристани. Толик всей мокрой тяжестью опирается на мое плечо, стучит зубами, я его почти что тащу, сам не знаю, откуда у меня столько сил, бормочу что-то вроде: ничего, сейчас обогреемся, тут рядом, почти пришли. Он показывает, где остановился, от пристани это действительно совсем близко, вот он, дом. Дверь распахивает хозяин, лысый, кривозубый шестидесятилетний бодряк, в широкой, явно по случаю добытой белой футболке с какой-то красной корпоративной символикой, сильно навеселе. Беда, банька нужна позарез! Жилец ваш! – киваю я на Толика.

Он вскрикивает: «Толян! Неужели хлебнул?! А я тебя жду-жду»…

Он зовет жену, из комнаты выскакивает плотная и такая же высокая, как он, но гораздо моложе его женщина, ахает, сердится, но сейчас же бежит топить баньку. Мы помогаем Толику стащить мокрое, тяжелое, растираю его полотенцем, натягиваю сухое. Он не помогает. Сидит полуживой, стонет, не говорит. Наконец ведем его с хозяином в баню, буквально под руки.

И паримся необычно, без веничка и стонов, Толик просто сидит на лавке и отмякает, греется, наконец, потихоньку приходит в себя, начинает говорить, но вяло, он явно все еще в шоке, окатываю его водой, помогаю одеться и веду в дом, раздеваю, укладываю спать. Он сразу же проваливается в сон, густо, сладко храпит. Только тут я вздыхаю. Хозяйка уже состряпала нам ужин, и мы долго еще сидим с ее мужем, тихо квасим Толиком же закупленную у местных хреновуху, забирает, до чего хороша! – обсуждаем озеро, погоду, парусность резиновой лодки и как Толику повезло, что у него такой оперативный друг, хозяин вспомнил это слово, «оперативный», и все время его повторял, все с бо?льшим трудом…

Этот фильм повторялся тысячу раз. Я все смотрел, смотрел его и не мог уснуть.

Смерть того, кто тебе дорог, кого ты знал двадцать лет, доктор. Знаете это как? Вам наверняка чаще моего приходилось сталкиваться со смертью. Но это были просто люди, не родные!

Смерть близкого человека – это когда от тебя отрезают тебя. Отмахивают широким ножом мясника плечо. Почки. Или там, легкое. Твое личное легкое.

Совершенно молча. Ничего не объясняя, только резкий свист в воздухе, все. И вот уже сквозь боль кромешную ты корчишься: подождите! Как? Как я теперь? Как без легкого мне дышать? Тебе даже не отвечают ничего. Только плечами жмут: так и дышать. Живи. Без легкого, без селезенки. Не можешь? Как можешь. Нет? Сдохни.

Но я не сдох, я по-прежнему работал, даже вскоре после всего полетел в Брюссель. За границей мне полегчало, вдруг откатилась эта опрокинувшаяся на меня смерть, и я чуть отоспался за московские ночки. Влетел в Москву в конец мая, а тут дожди. И все покатилось по новой. Ремонт кончился, но окна так и зияли, никто их не закрывал, просто из-за весны и тех, кто курил в подъезде. И лифт так и не заработал. Больше двух месяцев уже прошло!

И опять каждый раз, когда я шел мимо этих высоких душистых прямоугольников – непонятная сила тянула вниз. Она была даже мягкой, любящей. Словно хотела спасти, принести облегчение, говорила: хочешь избавиться? От рвущей боли, которая у тебя внутри. Хочешь? Уничтожь ее вместе с собой. Я пытался говорить с этой силой: сейчас-то чего ты? чего тянешь меня? из-за Толика? что он погиб? Но она не отвечала, улыбалась ласково, улыбалась одними губами.

Пробоины были во мне, лодка моя рвалась ко дну. На секунды шел счет. Прыгнуть за Толиком вслед, что одному мне здесь делать?

И я решился, доктор. Остановил кадр. Сказал себе «стоп». Стоп. Никакой лодки нет, озера нет. Ты здесь, в Москве, и у тебя есть рецепт. Тебе дал его доктор. Невролог Андрей Алексеевич Грачев. Вот ручка, вот лист бумаги, пиши.

Я сел за свой письменный стол, достал из принтера лист А4. Сложил пополам. И снова записал ваш рецепт. Даже постарался повторить ваш почерк, и про «смотреть, слушать!» не забыл.

Приписал внизу электронный адрес. Скрутил в трубочку, оделся, постоял в подъезде у раскрытого окна. Встать, прыгнуть?

Сел в машину, доехал до Архангельского переулка.

Кажется, я успел сказать вам, что живу в машине, почти не хожу. Гуляю изредка с близнецами на детской площадке – и все. Да, успел, вы же произнесли: вам

надо побольше двигаться. Ходить.

Вот и прописали мне поход.

7.

Но в первый раз ничего не вышло, попал в бесконечную пробку, и, пока стоял, позвонила давняя знакомая, позвала – я развернулся и поехал к ней.

Уже к ночи вернулся к себе, в дурацкой надежде, что после двух часов упражнений на упругой зеленой тахте усну. Не тут-то было. Смотрел из комнаты в черную тьму и понимал: нет. Еще одна пытка до рассвета. Разглядывал девятиэтажку напротив, родную сестру нашего дома – редкие огни, чужие люстры, шторы, изредка мелькающие силуэты, глядел и глядел, без всякой мысли. Как вдруг прямо в светлой кирпичной стене открылся туннель. Бесконечный, черный, зовущий.

Какая разница, туннель так туннель, черный – пусть. Я двинул вперед. Шел и шел в непроглядной тьме, не видя собственных ног, шел, пока не оказался в другой ночи.

Это была та самая ночь, когда Толик сказал мне о Наташиной свадьбе. Еще один прыжок во времени, доктор, на двадцать лет в прошлое, извините.

О свадьбе я узнал последним. Толик не собирался меня расстраивать, но проговорился. Мы засиделись в его аспирантской комнатке, в главном здании, он уже учился в аспирантуре, я заканчивал пятый курс, говорили, как часто тогда, о смерти, о том, что? можно противопоставить ей кроме никем не доказанной вечной жизни, какие защитные механизмы выработала культура, язык. Толик обдумывал тогда диссер об этом, после перестройки стало можно писать и на такие пессимистические темы. Мы договорились тогда до того, что любая прожитая жизнь не аннигилируется смертью. Про человека, который засыпал младенцем на груди матери, сосал эту грудь, плакал от страха, потом научился засыпать сам, без мамы, вырос, учился, коллекционировал фантики от иностранных жвачек, зубрил «Белую березу», мазал твердой мазью лыжи, влюблялся, ласкал женщин, сочинял стихи, и вечно не мог придумать

предпоследнюю строчку, качал запеленутую новорожденную дочку в белом чепчике, видел ангела, выходя из-под наркоза, про такого человека невозможно сказать, что его не было, его жизни не было. Была. Значит, не все может уничтожить и перечеркнуть смерть. Но Толику этого казалось мало. Тут он мне и признался, как именно его «матушка», так он ее назвал, закончила свои дни: повесилась. Устала сопротивляться депрессии, которую она всеми силами скрывала, прятала от него и отца, не хотела лечиться, надеялась проскочить. Но как только Толик уехал в лагерь для одаренных детей – повесилась прямо на люстре, отец ее так и нашел. Толик повторял: понимаешь, пусть там, за пределами, есть другой, невидимый мир, надеюсь, есть, верю, но какая разница нам, тем, кто пока здесь, – если граница непроницаема, если матушка мне даже не снится и никогда не снилась, если вместо человека черная пустота, и ничего, кроме фотографии, любимой голубенькой чашки да двух горшков с цветущей бугенвиллией и геранью, которые некому больше поливать. Вот они и засохли через несколько дней. Исчезнет отец, я – исчезнет и она вместе с нами, и никто уже не узнает, как ужасно громко и смешно она чихала. Это был гром небесный, знаешь? Страшно, но сразу же и смешно. Никто не вспомнит. Зачем тогда все?

В общем, разговор получился немного нервный, так что под конец мне захотелось сделать что-то простое, житейское, не про смерть.

Когда я шел к Толику, заметил у лифта на первом этаже самодельную афишку и позвал его завтра на концерт этой довольно забавной иронической группы, я знал их косматого полубезумного солиста, мы даже выпивали однажды. Толик сказал, что не сможет завтра, целый день будет занят, дела.

– Какие?

Он запнулся. Сообразил. Что как раз мне-то и не стоило рассказывать, какие. Но было поздно, и он признался сквозь неохоту, смущение, мгновенно порозовев ушами.

– Наташка выходит замуж, с утра уже все начнется, на даче у них.

Я не поверил.

– Наташа? Замуж?

– Да.

Я застыл, пробормотал что-то вроде «не может быть!».

– Да почему? – он как-то обреченно пожал плечами. – Может. Хотя неожиданно это для всех, поверь, это буквально за последний месяц решилось.

Месяц?

Ну да, примерно столько мы и не виделись, нет, больше, два с лишним месяца и…! Но ей всего девятнадцать лет!

Так я впервые узнал. Как в грудную клетку входит разрывной патрон, всего один, почти расслабленный, ленивый выстрел, который тебя даже не убивает. Пуля застревает в районе сердца и взрывается только там. Ты индевеешь, а вместе с тем горишь, и что-то лопается в голове. Горишь, мерзнешь и плачешь. Не подавая виду.

Это действительно прямо завтра?

Да, зовут с утра, и жених вроде там уже, на даче, и семейство.

Но кто, кто же он?

У меня еще хватает сил произнести это почти с усмешкой.

– Друг дяди Марка, старше ее раза в два почти, – произносит Толик.

До сих пор слышу его звонкий, отдающий отчаянием голос, ему тоже это очень не нравилось, эта свадьба, и «старше ее раза в два» он произнес фальцетом, глядя мимо меня.

Мне захотелось вскочить на стул, стол, рвануть к окну, раскидывая ногами словари и тома, пробить стекло головой, нырнуть навеки.

Может, это исток, доктор?

Каморка была на девятом. Разбить и выскочить на свободу. Но я был зажат, с одной стороны стол, Толик, с другой шкаф, тесно, слишком тесно живут аспиранты МГУ, товарищ ректор! Легче было кинуться в противоположную сторону, к двери.

Важно только не останавливаться. Двигаться. Иначе спалит.

И я побежал. Спустился на лифте, забыв у Толика и сумку, и часы, у меня были тогда выпендрежные круглые часы на цепочке, вспомнил уже на улице. Выскочил на улицу, светофор мигал бледно- оранжевым – ровно, мертво, холодный огонь преследовал меня в ту ночь – проголосовал. Деньги остались в сумке, но возвращаться времени нет. Я должен увидеть ее до утра. Утра последнего майского дня, 199… года.

Доктор, когда тебе двадцать два, сто тридцать километров – миг.

Первым меня подхватил Вано, на раздолбанной белой «Волге». На мои извинения, что я без денег, только плечами пожал: «Садись, брат». Несколько лет назад Вано переехал в Россию из Грузии, подальше от разрухи, войны, дом погиб, вместе с садом, двадцать пять соток, мандарины, абрикосы, персики, сливы, а какую мы гнали чачу! Он так и сказал: «дом погиб». Сейчас Вано мчался к жене, сыну и маленькой дочке после долгого рабочего дня – они жили неподалеку от Солнечногорска, снимали этаж какой-то развалюхи за помощь Вано хозяйке избы, почти старухе. Перед поворотом в его поселок я и выскочил на темную, плохо освещенную дорогу.

Дошел до фонаря, чтобы быть позаметнее, начал голосовать. Мне сразу же повезло. Промчалась и далеко впереди затормозила фура, замигала аварийками. Я подбежал, забрался по лесенке в кабину. На меня смотрел желтоволосый детина с жутким шрамом поперек лица. Стыдно было слезать, но ехать в одной кабине с уголовником? А если это маньяк? Все это мелькнуло и тут же погасло: какая разница? Прирежет, и пусть. Даже проще.

С патлами по плечи, слипшимися в косички, иконкой на шнурке, прицепленной к зеркалу заднего вида, водила тут же представился «Макс из Кирова» и оказался вполне вменяемым. Сразу же рассказал, что шрам на лице от топора. Видимо,

этот вопрос волновал не меня одного, Макс с этого и начал. Топор бросила жена, во время очередной ссоры, когда снова вернулся пьяным домой. Отлежав в больнице, после двух операций Макс взялся за ум, пошел в дальнобойщики. Правда, с женой все-таки развелся. Он здорово подвез меня, еще километров сорок, рассказал даже, где в этих краях баня, если понадобится помыться, приняв меня за автостопера, только удивлялся, где мой рюкзак. Мне нужно было поворачивать направо от трассы, я простился и выскочил на жесткий околодорожный грунт.

Голосовал, но теперь никто не останавливался, и еще километра три я прошагал пешком. Дорога тянулась сквозь почти уже невидимый лес, судя по остриям елок – довольно хвойный. И пахло хвоей. Машин становилось все меньше, а какие были, неслись мимо. Как-то окончательно, непоправимо стемнело. Небо заволокли облака, чуть только светлело желтым далеко вверху, в одном месте, видно, там, где за облаками пряталась луна. Я шел, почти не глядя под ноги, уставившись в это размытое светом место, держался за него и думал всякую ерунду: как важно иметь маяк, даже когда знаешь дорогу. Как хорошо, когда что-то светит над тобой, пусть и совсем слегка.

Ночь достигла дна, было, думаю, между двумя и тремя часами, а я все шагал как заведенный, не очень понимая уже, куда, зачем, почему это необходимо, но точно знал: сейчас это моя главная работа – идти вперед. Идти и терпеть разрывающее изнутри страдание, дышать чаще, чтобы не было так тяжело, смаргивать слезы, которые иногда вдруг выползали, и шагать.

Я добрался до заправки, посидел на приступке, чуть отдохнул. Зарычал чей-то мотик – подкатил «Урал». С него соскочил парень моих примерно лет, в черной блестящей ветровке, коротко стриженный, рванул заправочную трубку, но она застряла, не вынималась, я поднялся, помог, труба вынулась, бензин зажурчал. У парня было открытое и совсем простое лицо, чуть скошенный лоб, тяжеловатая челюсть. Я спросил его, куда он сейчас. Он ехал в нужном мне направлении.

– Не подкинешь?

Он, казалось, удивился, но не вопросу – интонации, в которой звучала неуверенность. Тут же кивнул: «Садись», и километров тридцать мы промчались вместе. Парень гнал и плевать хотел на ямы, камни, повороты, тьму! Навстречу выпрыгивали грохочущие «КамАЗы», легковушки, огни, края мироздания были размыты, огни превращались в скачущие кривые линии по бокам. Я вцепился в

его скользкую куртку покрепче и первые километры нашей гонки только выкрикивал матерные обрывки. А потом вдруг привык. Срежемся – и хорошо. В каком-то глухом месте, где не было ни фонарей, ни машин, ни домов, ни леса, только бесконечно раздвигающийся пустырь, на нас опрокинулся дождь – я был в джинсовой куртке, страшно ею гордился тогда, купил по случаю, левайсовскую! Но от дождя она не спасла. Это была краткая туча, вскоре мы вынырнули в тишь, покой, дождя как не бывало, даже гудрон здесь был сухой, и посветлело, только сделалось холодней. Проехав какой-то длинный сонный поселок, мы попали в новую климатическую зону или просто низину – окунулись в туман, помчались в сырой белоте. Я окончательно замерз и очень хотел согреться.

Докатились до очередного поворота, мотоциклист его как-то опознал в этой полной мутной невидимости. Он тоже был весь мокрый, ветровка не уберегла, поглядел, как я стучу зубами, дернулся куда-то вниз, в густую непрозрачную дымку, и вскоре на меня выступила фляга с заботливо отвинченной крышечкой.

Я глотнул – разбавленный спирт, еще глоток, мы пожали друг другу руки, он уточнил, не подбросить ли все же меня до нужного места, но уточнил как-то без энтузиазма, так мне показалось, и я отказался.

Тут рядом, рядом уже, спасибо, ты и так меня выручил, сказал я и двинул вперед, не дожидаясь, пока он поедет.

– Эй, погоди!

Раздался звонкий щелчок. Парень протягивал мне что-то еще – бесформенное и большое! Шерстяное детское одеяло, ха! Совершенно сухое, из багажника. Синее с узорами. Бери, согреешься. Он хлопнул меня по плечу, сунул колкий ком мне в руки. Я начал отказываться, но он не слушал, бормотал что-то про сына, который родился позавчера, собственную мать, которая вечно сует что ни попадя, а не нужно ему этих одеял, все у них есть. Я все равно не хотел брать.

Тогда он почти обиделся:

– Да ты че? Это ж я, я сам под ним спал, когда малой был, оно греет знаешь как?

На этих словах он сел и рванул дальше и почти сразу рокот мотора затих. Но, может, это туман делал все тише?

Я накрылся подарком и пошел вперед. Спирт и одеяло подействовали, я почти согрелся, и боль внутри заметно ослабла, стало даже весело. Как приятно, что живут на свете добрые люди! Дарят одеяла, дают глотнуть. Сын! У такого молодого. А что, и у меня мог бы быть сын. И будет. В этот миг я – может, от спирта, может, от нахлынувшего тепла – окончательно поверил, что остановлю ее. Перед такой любовью она не устоит. Это невозможно. Она передумает. Парень напомнил мне этот секретный механизм, дал ключ – как сделать так, чтоб тебя полюбили. Да вот так – отдать, отдать хоть что-то, подарить, одеяло вот. А я, я отдам ей себя, подарю свою жизнь, все, что она захочет, исполню! Я даже хрипло спел We shall overcome – правда, ничего, кроме этой фразы, я не помнил, но ее как раз хватило примерно на километр.

Я брел по колено в светлой реке, клочковатой, полупрозрачной; у дороги, под кустами было совсем бело. Выглянула луна, огромная, светло-желтая, слегка забитая облаками, и озарила дорогу.

Впервые за ночь я перестал ощущать себя, только плыл и плыл зачарованно в этой тишине, в белом плотном свете.

Потянуло дымком, кто-то топил печку в ночи? Раздался далекий лай, сквозь белую тьму проступили деревянные дома, кое-где пробивались огоньки, значит, я проходил деревню. Уже на окраине ее широко, мощно дохнуло навозом, раздался сонный коровий мык. Где-то рядом, выходит, был хлев, мычанию поддакнула курица, кудахтнула разок-другой, или это мычание ее разбудило? И снова стало тихо, сонно.

Начались поля, здесь была низина, туман поплотнел, лежал на темно-зеленом, как странный воздушный снег. Машины проезжали совсем редко, я махал рукой, но опять никто не останавливался, ни фуры, ни серый «уазик», ни легковушки, или голосовал я уже неуверенно? Может, от усталости, а может, потому что знал: скоро мой поворот, ехать недолго, зря только людей отвлекать.

Наконец, показалась проселочная дорога, тот самый отросток, на который мне и нужно было свернуть, он упирался в участки, среди которых прятался и ее. Пути мне оставалось еще километров шесть. Ноги не хотели больше идти, сбарывали

сон и усталость, какая-то смертная. Я спустился вниз, по жесткой траве, к разлившейся в овражке воде, зачерпнул, умылся, немного ожил, но промочил ноги и понял: до сих пор они были сухими.

Асфальт кончился, началась глинистая дорога, здесь тоже шел дождь, и, наверное, долгий – дорогу размыло. Я заскользил, два раза чуть не свалился, и все время прислушивался, вдруг? Вдруг кто поедет? Вот этот последний отрезок я бы с удовольствием прокатился уже. Я честно, объяснял я неизвестно кому, честно, не могу больше. Я должен дойти до нее, а у меня кончились силы. Но этот кто-то меня не слышал, во всяком случае, никто не хотел ехать на дачу в такую рань, дорога была пуста – только лес темнел справа, душистый, весенний, с робко запевающими птицами, а слева тянулись пустые незасеянные поля, заросшие густой, свеже- зеленой травой.

Я прошел еще сколько-то, может быть, минут двадцать, а может, час, и почувствовал, что больше действительно не могу. Совсем. Сел на край дороги, на очень удачно примостившийся здесь валун, глаза тут же закрылись. Надо мной величаво, спокойно шумел лес, и кто-то сладко защелкал в вершинах. Я начал отплывать, опять мчался на мотоцикле сквозь черноту, расчерченную желтыми огнями… Нет, нельзя, ни в коем случае нельзя спать. Начал ногтями царапать руку, изо всех сил – не спи! Стало больно, и я очнулся. Почувствовал на руке мокрое, липкое. Идиот. Расцарапал вроде не сильно, но до крови. Бросил одеяло на камень, может, на обратном пути заберу, засучил рукав, полизал рану, но кровь все равно сочилась – плевать. Оставалось совсем немного, но луна стремительно бледнела, и туман исчезал, таял прямо на глазах. Темно-серое небо прорезало волоконце света, и еще одно, пока розовое сияние не залило горизонт. Рассвет!

Я запаниковал. Когда именно все начнется? Толик сказал, с утра? Жених уже там. Я должен, должен дойти до, до того, как они начнут!

Я должен. Я побрел тихо-тихо, хотя бы так, уговаривал я себя, понемногу, по шажку. Лес кончился, потянулись участки какого-то садового товарищества. Все в этом товариществе жили за высокими заборами, виднелись только верхушки домов и трубы, но один забор внезапно оказался низким, чуть выше плеча. За ним стоял приземистый, охровый, не очень ловкий, слишком широкий, словно расстроенный дом. Справа от дома между яблонями тянулась веревка, на ней сохли простыни и две маленькие, красная и зеленая, футболки, рядом еще две – огромные, черная и ярко-синяя, нечеловеческих размеров, здесь поселился

великан? На грядках торчали розовые в темную крапинку тюльпаны, зеленели петрушка, лук, росли кустики клубники. Возле самого дома, слева, у крыльца под аккуратным навесом стояли два велосипеда, детский, трехколесный, и взрослый, мужской. Истертый, черный, похоже, «Минск», со знакомым профилем на железной трубке, у меня был когда-то такой же. Вряд ли великанский, для великана он маловат, а мне в самую пору.

Рассвет поднимался и уже полыхал, туман почти растворился. Я опаздывал!

В заборе была калитка, запертая изнутри, но открыть ее оказалось проще простого, я беззвучно прошел по пустынному участку, утоптанной дорожке и осторожно вывез «Минск» на дорогу. Верну, обязательно, скоро! Уже когда поднимал и ставил его на дорогу, велосипед зазвенел. Только тут раздался лай, но какой-то несерьезный, лай комнатного, домашнего пса. Поздно!

Я уже мчался вперед. Дорога была мной недовольна, скользила и норовила свалить, звонок на руле болтался и позванивал, я подпрыгивал на ухабах, огибал лужи и упрямо давил на педали. Если великан тут катается, я тем более смогу. Раза два, в низинах, слезал и вез ве?лик в гору пехом.

Ее участок был вторым от зеленых ворот. Прошлым летом мы провели тут немало веселых дней всей нашей компанией. Где они теперь? Те смешные лингвистки, громила Вадим, отличница Алена?

Было уже совсем светло, слева розовело огромное солнце. Я все катил по дороге. Так и не встретил ни души, ни машины, только бегущего по обочине черного в белых подпалинах пса. Вот, наконец, и зеленые ворота. Два дома: статный, красивый, уже из новых времен, и маленький, деревянный, заслуженный. И снова боль разлаписто, жестко вцепилась в сердце, так сильно, что слезы выступили на глазах. Я вдохнул поглубже, промокнул глаза кулаком. Оставил велосипед прямо на дороге, прислонил к забору. Развязал рукав и надел джинсовку, хотя вся она оказалась перепачкана кровью. У забора стояли черный, уже не юный “Lexus”, и темно-вишневый, новенький самодовольный “BMW”. Интересно, где сейчас их славный песик? Не загрызет ли меня, едва я переступлю порог дома? Но было тихо.

Над ухоженным участком слоились ароматы – чуть удушливый ирис, сладкие желтые нарциссы, ниже бутоны роз – и бинтовали душу, лишали воли, уговаривая: не больно, тебе не больно совсем, ты что? Ее полукруглый балкончик (дизайн дяди Марка?) на втором этаже нового дома, располагался не так высоко над землей, к балкону склонялась старая яблоня, покрытая белым цветом. Зацвела прямо к свадьбе, да? Слегка пнул ее, но она, сыпанув лепестками, простила и помогла, подставила крепкие ветви. Через несколько мгновений я уже стоял на полукруг- лой площадке. Занавески, похоже, никто на ночь незакрывал. Я заглянул внутрь.

В глубине сидела Наташа.

Надо же. Столько часов я бежал, ехал, брел, катился на велосипеде, рвался к ней, как к недостижимой далекой цели, а она вот.

Сидит на разобранной кровати, за спиной – подушка в голубой цветочек, одетая, в темно-зеленых шортах, белой футболке-маечке, сидит, подогнув ноги по-турецки, читает книжку.

Комната у нее была маленькая, с косым деревянным потолком, повторявшим крышу, но ей она казалась в самую пору.

Я не видел ее два месяца, но на самом деле я всегда был рядом, я не уходил от нее, просто отошел в сторону, точно зная: на время. Еще вернусь. И вернулся! А она… Сидит, читает. Одна. Только теперь я понял, как я боялся, что застану ее сейчас с ним, здесь, вдвоем. Свадьба – только формальность, чай, и мы не дети. Тогда я просто убил бы их чем ни попадя, удушил, забил на хрен. Топором, как жена того дальнобойщика, например. Но Наташа сидела одна.

И сумасшедшая взрывчатая радость сначала запалила вспышками, а потом залила душу до краев.

На мгновение я ослеп. Видел и не видел ее склоненную голову, длинные темные ресницы, нос с легкой горбинкой и короткую челку, которая превращала ее в девчонку, высокий лоб, сомкнутые губы («Боттичелли», буркнул однажды Толик), и выражение кротости, которым дышало сейчас ее лицо. Голубка моя, произнес я тихо. Голубка. И еще немного посмотрел. Голые тонкие руки, волосы, слегка волнистые, сейчас почти темно-каштановые с прорывающейся в первом

солнце рыжиной, разбросаны по плечам. Мысленно приложил к ним фату – не годится! Велика!

Балконная дверь была приоткрыта, я осторожно поцарапал стекло. Она подняла голову, нахмурилась, – я постучал ногтями сильнее. Она вздрогнула, вскочила, бросилась к балкону.

– Привет, – сказал я, заходя внутрь. – Что читаешь?

Она слабо вскрикнула, отступила назад – страх бушевал в глазах, но сейчас же стал опадать, гаснуть, она поняла наконец: это я, я пришел к ней в гости через балкон.

На куртке у меня красовались пятна крови, джинсы были по колено в глине, кроссовки превратились в два ботинка космонавта. Она глядела на мои страшные глинистые ноги и молчала.

– Извини, с дороги, еще не успел переодеться.

– Зачем? Зачем ты пришел?

Она задыхалась. Ее душил гнев.

– Я?

– Ты! Что ты от меня хочешь?

– Ты знаешь.

– Сейчас же уходи. Уходи вон. Вон!

И добавила: «Брысь!» Махнула на меня, как на кота.

– Я… Я рад тебя видеть! Ты все такая же. Красивая. Охренеть. Нет, даже лучше, чем всегда!

– Уходи, понял? Уходи отсюда сейчас же.

Она стала подталкивать меня почему-то к балкону, не к двери. Ей очень нужно было, чтобы я смылся как можно скорее, и через балкон.

– Тут высоко, куда я пойду?

– Сумел же залезть.

– Вылезать труднее. К тому же у меня два, два дела к тебе, любимая, – заговорил я нарочно медленно, не двигаясь с места. – Как сделаю, так пойду.

– Какие еще де?ла? – недовольно, но уже постепенно сдаваясь, проговорила она. – И какая я…

Кажется, она хотела сказать, что не любимая мне, но сдержалась. Очевидно, в надежде, что, если не спорить, – получится быстрей.

– Первое – узнать, что читаешь. Чего не спишь?

– Господи, да просто бессонница у меня, не спится! Свадьба все-таки, жизнь меняется, вот и волнуюсь, неужели не понимаешь? Полночи пролежала, а потом… взяла первую попавшуюся книжку, Луговской, видишь, стоял на полке, бабушкина еще – мне понравилось, что она маленькая. Оказалось, стихи.

Я подхватил из ее рук золотисто-бирюзовую книжечку, с пожелтелыми страничками, раскрыл – из книжки выпала длинная травка-закладка, совсем свежая.

– Нет, та, которую я знал, не существует.

Она живет в высотном доме, с добрым мужем,

Он выстроил ей дачу, он ревнует… – начал я зачитывать вслух первый попавшийся стишок. – Надо же, в тему!

– Слушай, хватит.

– Он рыжий перманент ее волос целует.

Мне даже адрес, даже телефон ее

Не нужен…

Я читал под Толика с его детским восторгом и всхлёбом.

– Хватит!

– Ведь та, которую я знал…

– Я… – голос ее дрогнул, – я прошу тебя.

– …не существует, – закончил я и остановился. – Хорошо. Зачем ты читаешь эту фигню?

– Второе дело? – торопила она, и, судя по лицу, прислушивалась. Незаметно для меня – прислушивалась.

Он где-то здесь, рядом, на первом или втором этаже, возможно, даже за этой тонкой стенкой. Он сейчас расслышит шум и проснется. И явится сюда. Понятно, ей этого совсем не хотелось.

Я молчал, думал.

Она устало закрыла глаза, отступила к кровати. Я глядел на ее темные ресницы, какую легкую они дают тень под глазами, фиалковую, как же ей шло быть с закрытыми глазами. И опять выражение кротости начало пробиваться между аккуратных темно-рыжих бровей, на чистом открытом лбу, кротости и детскости.

– Второе дело? Нужно дать мне руку. Дай мне руку. Правую.

– Для чего?

– Чтобы исполнить мое второе дело.

– Это все? Все?

Она протянула руку. Холодную, почти ледяную. Ты замерзла, любовь моя? Замерзла?

Но произнес я другое.

– Нет, это только условие.

Почему она так послушна? Не закричит, не вырвется? Страх! Она боялась его. Что он проснется.

Я взял ее руку, легонько сжал.

– Тебе не надо выходить за него замуж. Не нужно. Нельзя. За него. Если так хочешь замуж, выходи за меня.

Уже при первых звуках этой фразы, которую я репетировал все эти ночные часы, пока ловил машины, шагал пешком, крал велосипед, уже при первых звуках собственного голоса я понимаю: побег, спешка, приезд сюда, взлет на балкон, все это – бессмысленно. Обречено. И все-таки я повторил, как можно спокойнее и уверенней.

– Не надо. Не стоит выходить за него. Едем со мной.

– С тобой? – она задохнулась. – С тобой… да с какой стати?

– Ты знаешь, с какой. Знаешь! Я люблю тебя, люблю тебя. Я отдам тебе все, сделаю для тебя все, что ты захочешь, я бежал к тебе целую ночь, как только узнал, узнал вчера вечером, – я немного сбился. – Почему он? Он не годится тебе, вообще! Ты что, не видишь? В этой проклятой свадьбе фальшь!

Она слушала меня молча, серьезно, не перебивала. Наконец, посмотрела своими зелено-рыжими глазами.

– Это, – она запнулась, – не твое дело. Я так решила. Вот и все.

Я отвел взгляд, слушал интонации – в них плескалась неуверенность! В том, что она вообще так долго слушала меня, таилось сомнение. И вопреки всему во мне так глупо забилась надежда.

– Едем со мной, прямо сейчас, – быстро проговорил я.

– Это невозможно, – добавила она, словно пытаясь убедить не меня, себя. – Я не могу поехать с тобой. Сейчас.

– Ты слышишь себя? Это мертво, ты из какой книжки это переводишь – «Я не могу поехать с тобой», тебе хочется ехать со мной, на велике, по утреннему лесу, это в сто, в миллиард раз прекраснее, чем выходить за какого-то старпера! Если бы ты действительно хотела замуж за него, ты спала бы сейчас, крепко, сладко, ты бы не читала фиговые стишки, не мучилась бы, ты…

– Я не мучаюсь!

– Он – он… убьет тебя. Просто убьет.

Она покачала головой.

Облегченно рассмеялась.

– Что ты! Он добрый. Ты даже не представляешь, до чего. Он уже подарил мне машину, свадебный подарок, на дороге стоит, не видел?

– Ты умеешь водить?

– Научусь! Вообще он папин друг, у них бизнес общий, я его помню с детства, он мне как родной.

– Этого мало!

Она взглянула на меня растерянно. Что же еще? Что еще нужно было сказать? Она оказалась на уроке, а я был суровым учителем, и она думала, как меня убедить. Нет, не все было потеряно!

– И… он хороший, – она тяжело вздохнула. – Ты просто не знаешь его. В свадебное едем в Венецию, я всю жизнь мечтала. Жить будем в замке, настоящем, шестнадцатый век…

Голос ее звучал все тише.

– На размышления у тебя минута, – обрезал я. – Ровно. Выходи замуж за меня, предлагаю последний раз, совершенно серьезно. Не хочешь замуж, не надо, просто сбежим, сейчас же сбежим отсюда. Под окном мой велосипед, садись на багажник, – я говорил все громче, – и едем! Скорее! Продадим мою хату, рванем в Питер, Нью-Йорк, Тель-Авив, Венецию, куда ты только захочешь! Монтенегро еще! Есть.

Я почти кричал. Я знал, что она хочет свалить, совсем, из России, несколько раз про это говорила, и бросал к ее ногам все, что мог вспомнить, все доступные или важные ей страны. Свою, елки, жизнь.

Она высвободила руку, положила мне на губы, прижала. Слишком большое искушение, я стал целовать ее ладонь, согревать поцелуями, ты совсем замерзла, что ты, надо согреться, она не вырывала, и надежда во мне расширилась еще на волну. Я добрался до запястья, такого тоненького, девичьего, и ослаб, рваная нежность накатывала толчками, я утратил способность к сопротивлению, она выпроваживала меня, обратно на балкон: нет, Мишечка, нет, потом, потом приходи, сейчас нельзя… что еще она говорила?

Вот какую я однажды провел ночь, доктор. Может, тогда все и случилось?

8.

Второй раз я позвал Наташу с собой сразу после ее развода.

Когда Толик мне все сказал, под мерцающим фонарем, хмельной и немного виноватый. Это «тебя» – хочет видеть «тебя»… я онемел.

Но второй раунд был гораздо более мутный, если честно. Сожму рассказ в плотный комок, ок? Просто я ждал ее столько лет – восемь! и раз уж дождался…

Пока она жила с мужем в Америке, они уехали вскоре после свадьбы, я окончил универ, поработал журналистом в ста пятидесяти разных местах, занялся с приятелями бизнесом, разъехался с отцом. Вскоре отца не стало, я разошелся с Толиком, много пил, с кем попало, приятели появлялись и исчезали, постоянно с кем-то встречался, я нравился женщинам, доктор! но со всеми в конце концов расставался, сделался даже на полгода православным под влиянием одной из подруг, разочаровался в попах по полной и давно уже не думал о Наташе. Без усилий, без борьбы, рассосалось. И тут и Толик… продиктовал мне ее телефон.

Это был крик о помощи, доктор! Но чей крик? Его? Или все-таки ее?

Прошла целая неделя, прежде чем я решился позвонить.

Первое, что она сделала, впустив меня в квартиру и кивнув молча на вешалку, прошла на кухню и плеснула себе из початой уже бутылки коньяк. В не слишком чистую рюмку. Выпила залпом, как водку. Не предлагая мне. Выпила – и осела на стул. Доктор, это он. Он разрушил ее! И оставил. Бросил, высосав самое сладкое, юное. Нет, она была по-прежнему хороша собой, хотя в те первые минуты я даже не успел ее толком разглядеть, настолько она была пропитана отчаянием. Отчаяние делало ее покорной – тряпичной и незнакомой. Выпив, она начала благодарить меня и потом все время благодарила, что я пришел, все-таки пришел, я даже не думала уже, что ты появишься, вспомнишь, Толика даже попросила, чтобы он позвал тебя, но ты все не шел… Она выпила еще рюмку, зажмурилась, помотала головой, закусила овсяным печеньем, лежавшим на столе, в надорванной упаковке, и потянулась ко мне, просила обнять, тысячу раз спросила, люблю ли я ее.

Тысячу раз я отвечал: да, да, я люблю тебя и всегда любил. А теперь? Сегодня? Сейчас? И сейчас. Добавлял я и не двигался.

Тогда она сама повела меня в спальню.

И уснула, едва добрела до кровати. Повалилась поверх одеяла (кровать была разобрана, видно, сил застелить у нее не было) и тут же отключилась. Лежала, похрапывая, на животе, свесив ноги. Как я сразу не понял, она же была пьяна, пьяна до бесчувствия, доктор, напилась еще до моего прихода. Я аккуратно развернул ее, уложил на спину, подтянул к подушкам, вытянул из-под нее одеяло, укрыл. Она причмокнула, закряхтела, но не проснулась.

Я жадно искал в ее лице – детскую серьезность! Иронию ласковую! кротость – то, что жило в нем прежде – и не находил. Болезненное, бледное лицо измученной, хотя все еще молодой и красивой женщины, самолюбивой, пожалуй, да, лицо, по которому вдруг скользнула улыбка, она видела сон? Видела и улыбалась. Я всмотрелся и вздрогнул: улыбка была дурная, порочная, боже мой! Как же она провела эти годы? С кем была? После развода она еще «помыкалась» там, в Америке, так сказал Толик, только потом вернулась в Москву, домой – хотя где теперь был ее дом?

Я разделся и лег рядом. Словно назло. Край одеяла натянул на себя. И незаметно погрузился в ненадежное забытье.

Ближе к утру она проснулась, и я сейчас же проснулся, но не подал виду. Она соскользнула с кровати, сходила в душ, вода шумела и шумела. Вернулась. Я не открывал глаз, делая вид, что сплю, пока не ощутил: она хочет закончить начатое вечером, ее прохладная рука подобралась ко мне. И… как же я обрадовался, доктор, блаженство стало заполнять меня, волна восторга ложилась на новую волну, хотя казалось, уже невозможно, дальше больше, от ее тяжких, как укусы, медовых поцелуев, прямо в губы. Я уж не помнил ни ее нехорошей улыбки, ни того, как думал про нее несколько часов назад.

Когда она лежала рядом со мной, с новым, таким просветленным и успокоенным лицом… по секрету, доктор: больше всего я люблю женщин в минуту после, ради нее все! Тут я и увидел в ней прежнюю Наташу – эта была она, моя голубка. Просто сделалась чуть старше, и жизнь, ее немного похреначила жизнь.

Выходи за меня замуж, повторил я уже поздним утром, совсем как тогда. Я совершенно серьезно.

Она молчала.

– Выходи. Буду на руках тебя носить, обожать. И детей родим, двух сыночков, одного за другим. Люблю тебя и никогда уже не разлюблю, никогда, понимаешь?

– Он вернется, – сказала она. – Увидишь, он не сможет.

– Чего не сможет?

– Без меня не сможет. Меньше года прошло. Перебесится и вернется, за мной. Вы… все такие хорошие, но вы мальчики, вы мальчишки, а он взрослый, взрослый мужик. Этого не объяснить. И я нужна ему такой, какая есть. Вот увидишь, прости, что так говорю, ты прекрасный, благородный и такой светлый, ты родной мне, Мишечка. И тоже любимый, любимый мой.

Что-то это напоминало. Да, изгнание с дачи. Хотя сейчас она не выходила замуж, лежала рядом, уткнувшись в мое плечо, держала меня за руку, называла «любимым».

И Мишечка ощутил, как его погружают в вар. Кипящий вар, доктор.

– Почему же ты не осталась в Америке, приехала в Россию? Не осталась ждать его там?

– Потому что там – он… Везде он.

– Страна такая большая.

– Да, но Америка существует только в сочетании с ним. Каждый город, каждый человек там ассоциируется с ним. А я хотела порвать, забыть, выкинуть его… и не могу.

– Может быть, дело просто в том, что ты хочешь быть в центре, и там ты была в центре, благодаря ему, его связям, а теперь лишилась тех, кто смотрел на тебя с восхищением, может быть, ты вернулась, потому что здесь у тебя больше шансов? Быть в центре? Здесь тебя ждал я, твои прежние друзья, родные, богатый папа, а там… никого, кроме того, кто тебя бросил?

Она не обиделась, доктор.

Это тоже было новое в ней, она теперь многое могла вытерпеть. Она только произнесла грустно, почти просяще:

– Ну что ты такое говоришь? Зачем?

Мне тут же стало стыдно, но она уже улыбнулась и забила мне рот поцелуями.

Не помню, как ушел тогда от нее.

С тех пор я ее больше не видел.

Доктор, вру, о, как бы мне хотелось, чтобы так все и получилось. С тех пор я ее больше не видел. Нет, видел, я ходил к ней еще долго, в какой-то момент мне позвонила Анна Олеговна, ее мать, судя по голосу, она не утратила прежней бодрости и все же сильно сдала. От нее я и узнал, что Марка, ее мужа, Наташкиного отца, которого ни Толик, ни Наташа ни разу не помянули, убили, давным-давно, видимо, конкуренты, изобразив несчастный случай, машина сбила его в собственном дворе – дело закрыли, но то было уже пережитое горе. Теперь Анна Олеговна была в тревоге, почти в отчаяньи из-за дочери, я даже пришел к ней в гости – в ту самую квартиру, дверь которой когда-то изрезал ножом. Самое удивительное, что магазин «Охотник» работал по-прежнему. Мы придумали великолепный план Наташиного спасения, который немедленно провалился – в итоге я просто начал пить с Наташей на пару. Все делалось хуже и хуже, она спивалась сознательно, откровенно, а я бежал за ней, что-то кричал и не мог сделать ничего. В конце концов я застал у нее кого-то еще, не самого его, но след – потертая мужская замшевая куртка висела на вешалке, забытая накануне, второй невымытый бокал стоял на столе. Мы поссорились, я первым пришел мириться, на следующий же день, не вынес, а через неделю застал очередного утешителя, на этот раз другого калибра. Такие не ходят в потертых куртках и не забывают их в чужих прихожих.

Я приехал на лифте, хотел подняться полпролета – лифт там останавливался между этажами, пошел к ее двери, дорогу мне перекрыл отделившийся от окна

бритый амбал в ослепительно-белой рубашке, в черном плечистом пиджаке. Я попробовал обогнуть его, но услышал только краткое «нельзя». Очумев от такого нахальства, я попытался толкнуть его (толкни я бетонную стену, эффект был бы заметней), почти закричал: в чем дело? ты кто? «Служба охраны», – упал через паузу ответ. Послушай, служба охраны, там живет моя любимая девушка, она ждет меня… Он не ответил. Я замахнулся, но он поймал и сжал мою руку с нечеловеческой силой, кинул почти добродушно: «Без шансов. Твоя любимая девушка уже не твоя». А чья? Он не отозвался. «Того, кого ты, видать, стережешь? Да? Твоего босса?» Он смерил меня взглядом, словно размышляя, достоин ли я ответа, пожал плечами и процедил: «Допустим».

Я развернулся и вошел в по-прежнему стоявший в пролете лифт.

Не помню, как прожил еще полгода, потом женился. Семь лет я ждал, когда она расстанется со своим мужем, дождался… больше нечего было ждать. Я женился на Ирке, спящей красавице – так я ее звал. Моя жена любит спать днем, но может подремать и вечером, перед основным сном… хотя в остальном вполне.

Мы познакомились еще в журналистские времена. Она буквально вышла из тени. Я стоял и курил в тени огромного вяза, ровно посередине лета, в тесном дворике бывшей швейной фабрики, а теперь большой IT-шной компании, с которой мне предстояло вступить в довольно напряженное взаимодействие. Деловая газета, в которой я тогда трудился, отправила меня в этот большой город, разобраться в местном скандале, связанном с промышленным шпионажем и дырами в системе безопасности одной корпорации, компанию, в тенистом дворе которой я и курил, обвиняли в том, что она помогала крупным клиентам за корпорацией шпионить. Я не много понимал в системах безопасности и не сомневался: ничего-то мне здесь не расскажут, не объяснят. И чувствовал себя кисло, ждал какую-то Ирину Виноградову, программистку, которая должна была вернуться с обеда и ввести меня в курс дела. Рядом курила стайка из нескольких разновозрастных девушек, судя по разговору, бухгалтеров, грубоватых, бурно хохочущих и строивших мне глазки. Был душный жаркий день, во дворе у стены здания были свалены ржавые балки, в воздухе стояла пыль, ощущение неуюта усиливало слепящее солнце, от которого спрятаться можно было только в тени единственного на двор дерева, но в этом укрытии толпились бухгалтерши, я стоял на солнцепеке, глотал дым и страдал. Из тени, густо покрывавшей и один из внутренних подъездов кирпичного фабричного здания, выскользнула и метнулась ко мне длинноносая, сероглазая девушка.

– Вы Миша из Москвы? Я Ира.

Первое, что я подумал, увидев ее: бедная! Некрасивая до чего! Этот нос, тонкие губы, ну кто на такую поведется? Разве что ножки ничего.

В результате Ира помогла мне так, что неприятная командировка превратилась в мой личный триумф, материал мой кто только не цитировал – и все потому, что спокойная и трезвая Ира объяснила мне, к кому подойти, у кого лучше взять интервью, каков истинный расклад сил конкретно в этой компании и в городе и что, собственно, случилось – как обычно, все оказалось не совсем так, как представлялось из Москвы, но детали дела меня волновали все меньше, а вот Ира… Она оказалась милой, немного странной, знаете, такой тип хмуроватой отличницы из маткласса, одинокой и… дико полезной. Удивительно, через полчаса я перестал замечать, какой длины у нее нос, зато в глаза, наоборот, хотелось смотреть и смотреть, и иногда соскальзывать ниже! До гостиницы я в тот день так и не доехал.

Потом она призналась, что запала на меня с первой же встречи. Что никогда, никогда прежде не допускала до себя едва знакомых, да и никого почти не допускала, до меня у нее была только одна история, но тут… Ей понравилось, что я не надувался, не важничал, сказал все, как есть: ничего в ваших делах не понимаю, просвети, научи. Понравились моя беспомощность и ее нужность.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

1

Перевод К. Чуковского.

Купить: https://tellnovel.com/mayya-kucherskaya/ty-byla-sovsem-drugoy-odinnadcat-gorodskih-istoriy-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити